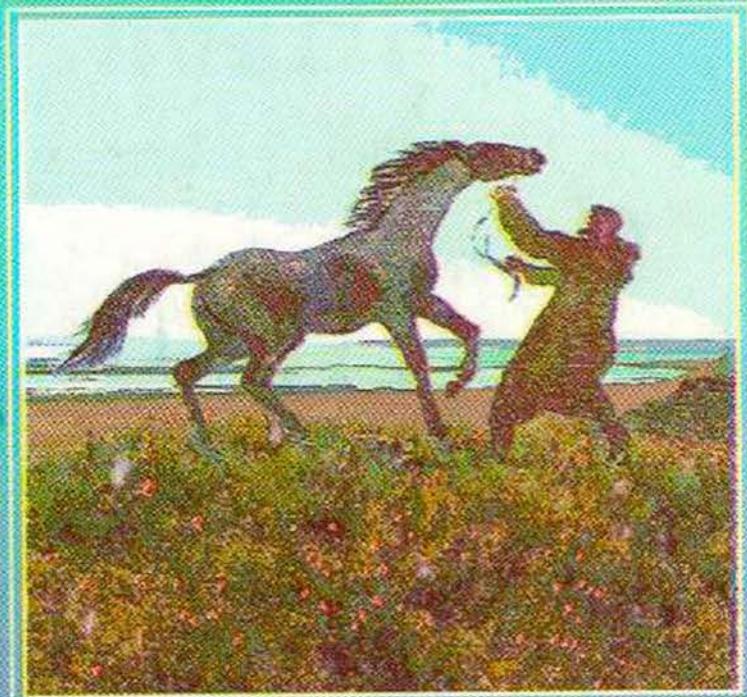


*Библиотека  
казахской  
прозы*

Сайн  
**МУРАТБЕКОВ**



Запах  
полыни

Сайн  
МУРАТБЕКОВ  
Запах  
Полыни

Повесть и рассказы  
*Переводы Г. Садовникова,  
Н. Силиной,  
Б. Рябкина*

„АУДАРМА“ БАСПАСЫ  
— ... АСТАНА-2003

ББК 84 Каз 7-44  
М 91

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Муратбеков Саин.  
**М 91** Запах полыни. Повесть и рассказы . — Астана: Аударма,  
2003. — 96 стр.

**ISBN 9965-18-080-6**

В этой книге Саина Муратбекова собраны произведения, повествующие о неприметных, на первый взгляд, простых людях. Но они властно входят в твое сердце, покоряя цельностью натуры, силой характеров, которая проявляется в час испытаний. Вот отважный мальчик Аян, обездоленный войной, но сохранивший яркий дар творчества. Вот юная Алима, застигнутая первой любовью. Вот великан Камен, наперекор всему нежно лелеющий свое родовое гнездо и зеленую рощу в овраге. Вот сельский продавец Тураш, совершивший ошибку и вышедший из тюрьмы: его терзают смятение и тревоги, но в конце-концов он понимает - к людям надо прийти честно, не прячась в темноту, ведь при солнечном свете хорошо видно, кто чего стоит...

4702250201-90  
М 00

ББК 84 Каз 7-44

**ISBN 9965-18-080-6**

® Издательство «Аударма», 2003  
© ООЖКГКазахстана, Л. Тетенко

## **ГОРЬКИЙ ЗАПАХ ПОЛЫНИ**

*повесть*

### 1.

Мое далекое, позабытое детство...

И все-таки я отлично помню этого мальчика в ссохшейся шубейке песочного цвета, худенького и хромого. Иногда закроешь глаза и видишь, точно наяву: по аулу мчится буйная ватага мальчишек, а позади всех бежит он, волоча больную ногу и стараясь не отстать. И все же отстает, и я опять слышу его голос: "Эй вы, да подождите же! Пойдемте со мной, у меня есть сказка. Вот увидите, она интереснее вчерашней!.."

Весной сорок второго года у Аяна умерла мать, и он остался вдвоем с бабушкой, отца его призвали в армию еще в начале войны. И бабушка привезла Аяна в наш аул в надежде на помощь своих дальних родичей.

Мы играли в войну на единственной проезжей улице, бросали "гранаты"—пыль, завернутую в бумагу, когда он впервые вышел из дома. Прохожие, старики и старухи ворчали: "Вот она, детская глупость: мало им одной войны, они свою затеяли. Будто нет других игр. Ну и пострелята!" День выдался безветренный, и

пыль долго висела в воздухе, застилая солнце, а мы с криком "ура!" нападали на своего "противника" и, отдавшись игре, никого и ничего не замечали. И только наш командир Садык неожиданно остановился на границе, где кончалась завеса пыли, и спросил:

— Эй, а ты кто такой? Откуда взялся?

Тут уж бросили игру все ребята — так необычен был этот вопрос для нашего аула, где все знают друг дружку с раннего детства. Мы обернулись и увидели незнакомого мальчика в белой безрукавке и коротких штанишках. Он выглядел не по-здешнему, особенно поразил нас его черный жесткий чуб, спускающийся на лоб.

Новенький мальчик в нашем ауле — слишком выдающееся событие, поэтому мы мигом забыли про игру и окружили Аяна. Каждый норовил протолкнуться поближе и хорошенько разглядеть новичка. Для нас, аульных детей, Аян в этот момент был и театром, и цирком.

— Слыши, кто он, а?

— А откуда он, ты не знаешь? — спрашивали мы друг у дружки, пихаясь локтями и жадно рассматривая Аяна с головы до пят так бесцеремонно, точно он был неодушевленным предметом.

А он в свою очередь глазел на наш растерзанный вид, и во взгляде его сквозило недоумение. Хороши мы были тогда, грязны,

точно поросята. Штаны и рубахи под слоем пыли потеряли свой первозданный цвет и висели клочьями, словно только что побывали в зубах у своры собак.

Его одежда не отличалась ни новизной, ни качеством, но чистенький и опрятный облик Аяна поражал, как царская роскошь.

— Гляньте на него, такой сопляк, а уже отпустил чуб, — высказался первым Есикбай, плохо скрывая зависть.

Нам было не смешно, но все же мы рассмеялись, стараясь поддержать своего товарища перед чужаком. Смех получился фальшивый, как будто нас вынуждали, Аян густо покраснел и промолчал.

— А я знаю, кто он! — громко произнес Са-дык. — Вы приехали вчера вечером, верно? — обратился он к новичку. И у вас еще была темно-серая корова. Правильно я говорю?

— Правильно, — кивнул серьезно мальчик. — Только она не совсем темная. Ты видел ее вечером, а днем она гораздо светлее, и еще у нас есть теленок. — И мне почудилось, будто по его губам скользнула усмешка.

А Садык продолжал свое:

— Как тебя звать?

— Аян.

Кое-кто из ребят зашевелил губами, стараясь запомнить его имя.

— Пойдем с нами, будем дружить,— предложил Садык и, не дожидаясь согласия, ухватил Аяна за руку и потянул за собой.

Новичок взглянул на его грязные исцарапанные пальцы и осторожно высвободил руку. Ну, подумал я, и начнется сейчас. Вряд ли стерпит Садык такое оскорбление.

— Ребята, где у вас можно купаться? Жарко, так и печет, — сказал Аян, не дав Садыку обидеться.

— Ну, у нас имеется такое местечко, вода — во! — ответил за всех наш простодушный Садык.— Хочешь, сходим сейчас?

— Хочу! — кивнул Аян

Садык повел приезжего к заводи, всячески расписывая по дороге ее достоинства. А мы повалили следом. Ребята крутились перед Аяном, каждый старался вставить словечко и тем самым возвыситься в глазах диковинного мальчика. Но хозяином положения был Садык.

— Знаешь, сколько могу просидеть под водой? Пока ты сосчитаешь до шестидесяти,— упоенно врал, и в эту минуту верил сам себе наш честнейший Садык.

— А у меня тоже есть белая рубашка, между прочим. Только она лежит в большом сундуке. Не велит надевать мама. Вот, говорит, подрастешь — и носи на здоровье,— сказал Касым-царапка.

Это прозвище он получил за то, что в драке всегда лез ногтями в лицо. Ревел в три ручья и в то же время так и норовил вцепиться в глаза. Поэтому многие ребята старались не связываться с Касымом-царапкой. И только Есикбай не боялся его длинных и грязных когтей.

Сейчас Есикбай ревниво брел в стороне. Он был самым сильным драчуном, жилистый и длиннорукий, и поэтому некоторые мальчишки то и дело лебезили перед ним. А теперь его будто и не было — все внимание ребята отдали чистюле-новичку. Вот отчего Есикбай шел в гордом одиночестве и брюзжал презрительно себе под нос.

— А ну-ка иди сюда, Царапка! — рявкнул Есикбай, едва Касым закрыл рот.

Касым приблизился с опаской, на всякий случай его пальцы скрочились, точно когти беркута.

— А может, в твоем сундуке и золота полным- полно? Но-но, спрячь свои когти, кошка. А голову подставь, вот так. — И Есикбай ввонко щелкнул Царапку по голове.

Голова Царапки зазвенела, словно спелый арбуз. А Есикбай щелкал еще и еще, вкладывая все свое умение и силу. Касым заплакал от злости и бросился на обидчика. Но Есикбай опередил его и ударил по носу.

Касым зажал нос ладонью и поплелся назад, в аул, ссугулившись и вздрагивая. А Есикбай

посмотрел Аяну в глаза многозначительно, как бы говоря, учи на будущее, у меня разговор короткий.

Аян, в свою очередь, обвел нас вопросительным взглядом: мол, что же это у вас творится? Но никто не хотел связываться с Есикбаем, мы отвели глаза. К тому же коварный Касым не пользовался нашим расположением.

— Ты, конечно, сильный, но за что так его? — спросил Аян Есикбая, покачав головой.

Есикбайsarкастически фыркнул и опять отошел в сторону. На большее он пока не решался. Сегодня Аян и для него был чем-то необычным.

В тот день мы купались, загорали и снова купались, до вечера играли у заводи и так свыклись с Аяном, будто он жил в нашем ауле со дня рождения.

Словом, в первые же дни Аян завоевал всеобщую симпатию. Особенно нам поправился его мягкий покладистый характер. Каждый, конечно, стал исподволь набиваться в друзья, но Аян относился ко всем одинаково подоброму, давая понять, что желает ладить со всеми. Кое-кто из забияк пытался расшевелить Аяна, прощупать его, но Аян только хмурил брови и отходил подальше, а самому настойчивому ответил так:

— Я не хочу драться. Потому что это глупо и потому что я у бабушки один. Если я подерусь, ей будет неприятно.

И провокатор отошел с миром. В том, что Аян был не хилого десятка, он убедился еще в день знакомства. Тогда мы боролись на песке, и новичок клал всех на лопатки. Только Есикбай одержал над ним победу.

Этот неугомонный драчун дня четыре приучал себя к мысли, что Аян такой же, как все, и, значит, его можно бить в общем порядке. Укрепившись в таком мнении, Есикбай начал придиরаться к Аяну, Но вызвать на скандал умного и доброго Аяна не так было просто.

— Да хватит тебе! Перестань,— отмахивался Аян добродушно. Но однажды Есикбай потерял терпение, послинявил палец и мазнул Аяна по лицу.

Аян вытер лицо тыльной стороной ладони и серьезно спросил:

— Значит, ты никак не можешь не драться?

— Что, с тобой, что ли? Видали мы таких!— запетушился Есикбай и попытался щелкнуть Аяна по лбу, но тот уклонился вовремя.

— Пойдем в лог. Посреди улицы драться не буду. Тут уж бабушка узнает наверняка,— спокойно сказал Аян.

— Думаешь, это тебя спасет? Уж так изукрашу — бабушка все прочтет, как по книге!— заверил Есикбай.

Мы отправились следом за ними. Довольный Есикбай спустился в лог первым, приговаривая:

— Ну, иди же сюда, голубчик. Сейчас я тебе покажу.

Аян на ходу снял рубашку, бережно повесил на курдюк и приготовился к схватке. Бойцы пришли друг другу в рост. Есикбай выставил руки первым, обхватил Аяна и, притянув к себе, начал валить. Но его противник держался крепко на ногах, и нам, зрителям, стало ясно, что в честной борьбе Есикбаю не осилить. Он понял это сам, изловчился и, схватив Аяна за чуб, запрокинул ему голову, Аян стиснул зубы от боли и медленно повалился на спину. Есикбай взгромоздился на него верхом и начал молотить кулаками. Его спина закрывала лицо Аяна, мы видели только ноги, отчаянно взбивающие пыль. И вдруг Есикбай страшно завопил и сполз набок.

Аян держал его за кисть руки и слегка выворачивал как только Есикбай обнаруживал намерение побрыкаться. И вот на наших глазах непобедимого Есикбая взяли за шыворот и дважды легонько ткнули в пыль, точно нашкодившего котенка.

— Теперь довольно? — спросил Аян.

— Ай, ой! Конечно, довольно! — закричал Есикбай, опасаясь, что победитель передумает.

Аян шагнул через голову Ееикбая и выпрямился: теперь сила врага должна перелиться в его мышцы. Во всяком случае, так утверждают древние казахские легенды. Аян тоже не сомневался в этом, он спокойно надел рубаху, пригладил ладонью чуб и полез наверх, ни разу не оглянувшись.

Потом наступила осень, и мы пошли учиться в первый класс к старику Иманжанову. У нашего педагога тряслись руки и слезились воспаленные глаза. Старик приносил с собой листочки драгоценной в то время бумаги и учил нас азбуке. Я сидел за одной партой с Аяном и был первым свидетелем его школьных успехов. Его способности проявились о самого начала. Помнится, после надоевших нуликов и палочек учитель написал на доске первую букву, и мы, высунув языки, пересовывали ее на листочки. Наши пальцы, сильные и крепкие в уличных играх, еле управлялись с карандашом. Мы все еще боролись с непослушными пальцами, а Аян уже нетерпеливо ерзал на скамье и спрашивал у старика Иманжанова, что делать дальше.

— Не спеши, всему свое время, Аян,— успокаивал учитель, радуясь живому, любознательному ученику.

После урока Аян говорил с возмущением:

— Почему он не написал все буквы? Я бы их выучил сразу и написал папе письмо.

Мы понимали его: каждый из нас ждал той минуты, когда можно будет сесть за стол, написать письмо отцу или брату на фронт. Будто почувствовав это, наш престарелый учитель не жалел своих сил и терпения, и вскоре наступил великий день. На одной из перемен мы столпились за спиной Аяна, и он самостоятельно вывел слова: "Мой дорогой папочка..."

Отныне, вернувшись из школы, Аян располагался на полу и писал письмо, слюняв химический карандаш. Уже после второй строки его губы становились фиолетовыми, точно он перекупался в заводи.

Почти каждый день из аула уходило письмо, адресованное отцу Аяна. Иногда их было два, в том случае, если бабушка усаживалась на постели и диктовала свое письмо.

Мы завидовали Аяну, потому что еще не научились связывать на бумаге слова в осмыслиенные предложения. Но наш новый приятель ни капельки не заносился перед нами. Бывало, придешь к нему, скажешь:

— Аян, помоги. Уж очень хочется написать брату письмо! А он отвечает великодушно:

— Возьми мое и перепиши. Только имя моего отца замени именем своего брата. Понятно?

Киваешь: понятно,— и мчишься домой в нетерпении.

Так постепенно все наши одноклассники стали посыпать письма на фронт, Письма были точно близнецы, потому что, в сущности, их сочинял один человек.

Наш учитель будто только и ждал того, чтобы его ученики научились писать письма. Скоро, наполовину парализованный, он слег в постель. Другого учителя не было (да разве его найдешь в войну для маленького аула!), и потому у нас вынужденно начались надолго затянувшиеся каникулы.

В тот же период, который связывается в моей памяти в одно целое, случилось еще одно событие. Однажды Аян гнал бычка с пастбища домой и по дороге решил его объездить. Кроткий бычок взъярился, взбрекнул и сбросил с себя Аяна. Незадачливый джигит вывихнул ступню и около месяца провалялся дома. Этот вывих оказался для Аяна роковым. С тех пор он так и не смог отделаться от его последствий.

Он все меньше и меньше возился с нами, а затем и вовсе стал просто свидетелем наших игр: сидел где-нибудь в сторонке да с завистью поглядывал, как мы носились по аулу, изображая Красную Армию.

## 2.

А потом пришла зима, выпал первый снег, и наступила пора снежных гор и санок.

Наш аул приотился у подножья горы Ешкиольмес. Его головные избы, пытаясь

подобраться повыше к вершине, вползли было на склон и застыли в начале пути. Такое возникает впечатление, когда смотришь на единственную улицу в нашем ауле. Летом она верхним концом упирается в густую гриву полыни, покрывающей гору Ешкиольмес, а зимой мы носимся сверху вниз на санях по утоптанному снегу, и до позднего вечера над улицей звенят веселые детские голоса. Зима у нас замечательная, снег выпадает глубокий, и в то же время у подножья горы солнечно и тепло. Вот уж благодать, когда несешься навстречу упругому воздуху, а снег слепит глаза и поскрипывает под полозьями, и видишь, как торопятся твои приятели, волокут наверх сани, и щеки их пышут жаром...

Катание в этот день ничем не отличалось от прочих. Время уже подходило к вечеру. Солнце разбухло, отяжелело, налилось красным соком, готовое вот-вот сорваться за гору Ешкиольмес; на снег упали его мягкие розовые отсветы. С солнечной вершины Ешкиольмеса привычной дорожкой спускалась в аул скотина, пасущаяся на проталинах. Все дышало миром, будто исчезли беды и слезы. Хотя бы на эти часы. Поэтому вопль отчаяния поднял на ноги всех людей. Ему ответил такой скорбный плач, что у нас, детей, побежали по спинам мурашки. Минутой позже мы поняли, что горе избрало в жертву дом, где жил Аян.

Ну что ж, от этого никуда не денешься — даже несчастье вызывает у детей прилив любопытства. Мы посыпались с саней и побежали поглядеть на чужое горе. Те, кто уже успел все узнать, шептали осведомленно:

— Слыхал, у Аяна-то бабушка умерла.

И передавали новость другим с таким усердием, будто нас ожидало вознаграждение за радость — суюнши, и, конечно, не сводили глаз с Аяна, боясь пропустить самое главное.

Аян стоял у порога, белый, как тот самый снег, по которому только что носились наши сани, и моргал часто-часто. Соседские женщины подняли кутерьму: вокруг причитали, кто от души, а кто ради приличия. А он застыл, глух и нем, только хлопал ресницами да иногда зябко вздрогивал. Мы решились и, подталкивая друг друга, подобрались к Аяну. Он встретил нас молчанием, только недоуменно взглянул на санки, которые мы притащили за собой.

Солнце спряталось за вершиной Ешкиольмеса. Краски померкли, стал сумеречно- серым воздух. А мы впились глазами в Аяна, ожидая, когда же он заплачет. Кто-то даже произнес вслух, точно подсказывая Аяну:

— Эй, почему он не плачет? У него же умерла бабушка!

Но Аян молча перешагнул порог, прошел мимо окон и завернулся за угол. Нетрудно

догадаться, что мы бросились за ним, заинтересованные его поведением. И тут он обернулся и сказал:

— Ну, что вы, ребята?.. Хотите послушать сказку? Он произнес это так, будто умерла не его бабушка, а все наши бабушки сообща покинули белый свет, и потому мы нуждаемся в его утешении.

— Так рассказать вам сказку? — спросил он, печально улыбаясь.

— Расскажи! — брякнул Садык.

— Наверное, лучше смешную, — сказал он самому себе и, задумавшись, потерся щекой о ворот шубы с редким мехом.

А мы крепко держались за свои санки и глазели на него, дружно разинув рты.

Аян вздохнул прерывисто и начал, будто забыв о нашем присутствии и обращаясь только к себе:

— Давно это было... Жил один мальчик... сирота...

Он рассказывал долго и задумчиво, потому что сказку придумывал прямо на наших глазах. Сказка получилась грустной. Но сирота оказался не таким уж жалким нытиком, он не сдавался, а раза два мы даже рассмеялись, забыв о том, что сегодня умерла бабушка Аяна.

На другой день ее хоронили. Следуя обычаям,

те немногие мужчины, что были освобождены от военной службы, похоронили бабушку и помчались на конях в аул, оставив Аяна у могилы. Он стоял один-одинешенек, низко опустив голову. И на этот раз глаза были сухими, будто он до сих пор так и не научился плакать. Потом он взял ком глины вперемешку со снегом с могильного холма и бросил в сторону, как положено:

— Бабушка, пусть земля тебе станет пухом!

Он подул на закоченевшие пальцы и поплелся по дороге в аул

В этот же день Аян переехал к старику Ба- паю, который находился с бабушкой в далеком родстве. Вначале из ворот выехал дед Бапай, на его санях красовались горы пестрых одеял и подушек. За ним появился Аян, ведя светлосерую корову. Корова сделала шаг, другой и уперлась, чуя, что ее уводят навсегда из привычного стойла. Ну, а нам только дай повод для деятельности. Мы побросали сани и всей ватагой наперли на корову сзади.

— Раз, два — взяли! — вопил Есикбай.

Корова таращила большущие глаза, полные коровьей тоски, мотала головой, хвостом, точно ее кусали слепни, сделала вид, будто хочет боднуть Аяна, но затем смирилась, промычала жалобно и побрела следом за Аяном, нюхая полу его

— Она у нас умница, все понимает, — сказал Аян, зачем-то стараясь оправдать корову в наших глазах.

Мы проводили его до нового жилья и опять взялись за санки.

Аян вышел к нам только на следующий день. Он остановился в сторонке и горящими глазами смотрел, как мальчишки летают с горки на санях.

— У меня тоже были санки. Там, в городе,— сказал он мне, когда я, лихо развернувшись, затормозил у его ног. Он сказал это так, будто мы его обвинили в чем-то.

— Аян, знаешь что, возьми мои сани. Спустись разок,— предложил я, не выдержав его взгляда.

— А что, может, и в самом деле попробовать? — сказал он неуверенно, но потом лицо его просветлело.— Ну, кто со мной наперегонки?!

Он втащил, прихрамывая, сани на горку и, плюхнувшись на них животом, мигом скатился вниз.

— Спасибо,—сказал он, вставая, — Ух, как быстро! Не успел и подумать.

— А мои сани еще быстрей,— похвастался Садык, — Аян, попробуй на моих.

— Давай твои сани, — обрадовался Аян  
Потом он уселся на сани Есикбая и не успел  
еще оттолкнуться, как остальные ребята закричали  
наперебой.

18

— Аян, Аян! А мои сани?! Возьми мои сани!

— Ух, и накатался!— Аян дышал глубоко, возбужденно, видно, устал с непривычки.

— Ну, а за это расскажешь еще одну сказку,— пошутил Садык.

— Так и быть, расскажу, — улыбнулся Аян. — И, наверное, она будет лучше вчерашней. Ну, веселей, что ли.

Когда наступили сумерки, мы собирались у дома Бапая и подняли такой шум, рассаживаясь на крыльце, что тут же распахнулась дверь, и раздался крик старухи:

— Ой, срамота какая! Я-то думаю, что за топот? Уже не согнали ли колхозное стадо под мои окна? А это, выходит, вы, безобразники! А ну, марш отсюда, негодники этакие! Ух, я вас!

Она потрясла сухим кулаком, и этого оказалось достаточно — нас точно ветром сдуло со двора. Мы стояли на улице и переглядывались растерянно. "Плакали наши сказки", — вот что было написано на лицах ребят. И тут нашелся Садык.

— Ребята, айда на конюшню! Залезем на крышу, и там уж слушай сколько влезет, во!

И как мы раньше не подумали об этом? На крыше конюшни навалено сено, оно там лежит с начала осени, мягкое, пахучее. Сиди себе и слушай. Уж большего удобства не найти, как ни ломай себе голову, Ай да молодец Садык!

Мы заорали "ура!" и, точно одержимые, подстегивая себя, помчались на конюшню. Позади всех, припадая на больную ногу, бежал Аян. Взобраться по каменной кладке на крышу не стоило большого труда, особенно для тех, у кого руки так и чешутся от желания на что-ни- будь залезть. На крыше было просто здорово, и первые минуты мы с хохотом и визгом кувыркались на душистом сене, с головой зарываясь в него, опьяненные запахом лета. Потом ребята притихли как-то разом и начали устраиваться поудобней в кружок. Сам рассказчик сел посреди кружка, собрав под себя большущую охапку сена, и устремил сосредоточенный острый взгляд в сторону чернеющего лога. Он еле угадывался в ночи, да и что можно было разглядеть во тьме-тьмущей? Но глаз Аяна проникал сквозь черноту ночи, ему виделось что-то необычное, непостижимое для остальных ребят. И нам стало жутко.

— Это было давным-давно... в далекие времена. Жил один мальчик... сирота... — начал Аян.

Его приглушенный, бормочущий голос завораживал нас. Мы сидели не шелохнувшись и верили каждому слову, хотя и знали прекрасно, что это всего-навсего сказка, придуманная нашим же товарищем. Внизу, под нами, фыркали и тихонько ржали кони и

переступали копытами. Но мы уже не реагировали на обыденные звуки реального мира, а перенеслись в диковинную страну, которая раскинулась во тьме у подножья Ешкиольмеса.

С тех пор так и повелось: едва наступал вечер, мы занимали облюбованные места, и Аян заводил очередную сказку.

Как-то в один из таких вечеров Садык появился на крыше с газетой и горстью табака, утащенного из дома. Усевшись по-солидному, так, по его мнению, сидят настоящие мужчины, он свернул огромную неуклюжую "козью ножку", извлек из кармана коробок с единственной спичкой и неумело прикурил. Мы смотрели на него во все глаза; он сделал первую затяжку, зашелся долгим кашлем и, смахнув невольные слезы, небрежно заявил:

— Теперь можно начинать. Валяй свою сказку, Аян!

— Э, прежде и я попробую. Дай-ка, затянусь разок, — возразил сидевший по соседству с ним Касым-царапка и нетерпеливо потянулся к цигарке.

Наш Садык был великодушным. Он протянул самокрутку, и Касым набросился на нее с такой жадностью, будто в этой порции дыма заключалось его спасение. Но он начал так чихать и кашлять, что мы подняли его на смех, а кто-то назидательно изрек:

— И поделом тебе! Не будешь жадничать.

Потом в это дело вмешался Есикбай.

— А ну, Садык, я покажу, как надо курить, — потребовал он важно.

— Пожалуйста, — сделал вновь широкий жест Садык.

Есикбай, волнуясь, вдохнул, набрал полный рот табачного дыма и потихоньку выпустил через ноздри. После этого он обвел нас взглядом, полным превосходства, как бы говоря: "Вот так-то, слабаки". Тут уж не утерпел и я, за мной последовали другие, и вскоре от "козьей ножки" остался крошечный окурок, который уж никто не рискнул взять в рот.

На другой день каждый притащил на крышу собственное курево и потом, пыхтя, рассыпая табак и шурша газетой, сворачивал уродливую "козью ножку". Мы чадили в ночное небо и слушали Аяна, и отныне его сказки обрели еще большее очарование. Курение возвысило нас в собственных глазах, мы считали себя повидавшими виды людьми, вкушающими мудрость одного из собратьев. Потом один из нас попался матери во время кражи табака, и родители забили тревогу. Табак и газеты были ураны в семейные тайники. Но мы уже стали искушенным народом.

— Ребята, а ребята, вы заметили, что курит немой Турдагул? — спросил Есикбай, когда мы устроили совет по столь трагичному поводу.

О да, мы отлично это знали, и отныне горстка сухого конского навоза (да простит читатель!) стала одной из тех необходимых вещей, что мы постоянно таскали в карманах. И опять мы пускали к звездам дым, внимая голосу Аяна.

А сказки его казались нам удивительными. В них было все: и доблесть, и богатырская мощь, и ум, и красота. Но самая притягательная сила этих сказок заключалась в том, что их героями Аян сделал нас. По его словам, мы отважно бросались в атаку на фашистов, один против ста, нет, против тысячи, да что уж там, против миллиона, и под нами хранили фантастические кони, а на наших руках сверкали волшебные сабли из чистого серебра. Перепуганный до смерти враг обращался в паническое бегство передо мной, перед Садыком, и уж, разумеется, в первую очередь перед Есикбаем. Вечно хлюпающий носом Касым-царапка забывал о соплях и о том, что еще не слопал лепешку, стянутую со стола, потому что в этот миг одним махом в одиночку сокрушал фашистские орды.

Мы слушали Аяна, забывая о скучных обедах, о худой одежонке. Все этоказалось пустяком по сравнению с нашими подвигами. И, когда кончалась сказка, замирало последнее слово

Аяна, мы принимались горячо обсуждать только что отгремевшие события. Только и слышалось:

— А как я их, а! Здорово?

— А я?!

И неизменно разговор переключался на всамделишную войну. Есикбай или кто-нибудь еще говорил:

— Была бы у меня такая волшебная сабля, поехал бы я на фронт, да как бы задал фашистам трепку, всех бы покосил наповал — Или что-нибудь еще в этом роде. А Садык или кто-то другой добавлял мечтательно что-нибудь вроде:

— Представляете: папа, а вокруг него фашисты. И тут появляюсь я с волшебной саблей. "Папа,— говорю,— это я, Садык!" И раз! Раз! По фашистам. И всех до одного! А, как бы было здорово?!

Все остальные соглашались с ним, каждый тоже мечтал помочь отцу или братьям в самый трудный для них момент...

Иногда Аян придумывал страшную сказку. Тогда ночь вокруг нас наполнялась лязгом медных крыльев, на которых парили звероподобные птицы, а закоулки, лог и яры так и кишили одноглазыми чудовищами, чертями и прочей нечистью. Ночь наэлектризовывалась ужасами: нам мерещилось, что ветер, дующий

со стороны яра, доносит какие-то воющие голоса, и стоило самому храброму из нас крикнуть "а!", как остальные с воплем "ой-бай!" зарывались в сено.

Что происходило с Аяном, когда в его голове рождались такие сказки, не представляю и сейчас. Может, его угнетало одиночество, и временами, когда побеждало отчаяние, ему чудилось, что его окружают несчастья, и те принимали сказочные образы в его детском воображении... Об этом остается лишь гадать. Но и в таких случаях его сказки всегда кончались счастливо, потому что он верил в победу добра.

И в то же время никто так не веселил нас, как все тот же Аян. К сожалению, это случалось очень редко. Но уж когда он брался за смешную сказку, чуточку улыбаясь и показывая при этом плохие редкие зубы, мы корчились от смеха, сучили ногами, захлебывались, держась за животы. И будто не шла война на земле, и наши отцы и братья в этот самый час сидели дома в тепле, живые и невредимые...

— Аян, ну еще одну... Ну, что тебе стоит,— умоляли мы, когда он умолкал.

Но сколько ни проси, больше одной сказки он не рассказывал. Он поднимался, отряхивал приставшее к шубейке сено и виновато отвечал:

— Поздно уже, ребята. Спать пора. Дома ругаются, наверное.

Нам казалось, что Аян просто ломается перед нами, набивая цену, что сочинять сказки не так уж и сложно, только нужно знать особый способ, а Аяну известен этот способ, и нам только не хватает смелости, а то и просто лень расспросить его как следует и потом самим выдумывать сказки. Но, видно, это было и не такое уж легкое дело. Аян думал, сидя где-нибудь на солнышке, а мы беззаботно катались с горки на санках и вечером, уставшие, довольные, мокрые от снега, шли на конюшню послушать, что же еще приготовил для нас наш приятель...

В награду за новую сказку кто-нибудь из ребят наутро давал свои санки Аяну — это стало обычаем. Так было вначале, и первое время мы были очень добросовестны, но потом порыв остыл. Как-то, когда подошла очередь одного из нас, он сказал:

— Знаешь что, Аян. Лучше я дам тебе сани завтра. Ты не обидишься?

— Конечно, нет, — ответил Аян растерянно.

Новый почин был заразителен. Да и кому охота расставаться с санями хотя бы на один день, когда так сверкает снег, и сани так и скользят по снегу, и ветер поет в ушах. Теперь, если Аяну удавалось хотя бы разок съехать на санях, если у кого-нибудь просыпалась совесть, и он скрепя сердце говорил: "Аян, может быть,

прокатишься разок?" — это можно было считать удачей. Аян тащил сани на горку, но это уже не приносило ему прежней радости, и, скатившись с горы, он возвращал сани владельцу. Казалось, он брал-то их оттого, что понимал нас и просто не хотел ставить засовестившегося мальчика в неудобное положение. А потом он подолгу стоял внизу, у самого спуска, пряча посиневший от холода нос в ворот шубейки, постукивая пяткой о пятку, и молча следил за нашими забавами.

Иной раз из ворот высовывалась старуха Ба- пая и покрикивала:

— Эй, Аян, где ты там? Куда он делся, этот непоседа?!  
Ах, вот ты где! Ступай, привяжи корову, загони уток и гусей. Да, совсем забыла: потом напоишь кобылу. И смотри не забудь положить ей сена!

— Я сделаю все, бабушка, — отвечал Аян и уходил во двор, то и дело оборачиваясь, будто опасался пропустить самое интересное, а покончив с делами, почти всегда возвращался.

Зато вечером Аян брал свое. Он, видать, с нетерпением ждал весь день, когда сядет солнце, и, когда оно закатывалось за вершину Ешкиольмеса и начинало смеркаться, его лицо оживлялось, он говорил:

— Ну, а теперь на конюшню. Я сегодня при-

думал такую сказку!.. Куда до нее вчерашней!

Бывало и так, что он не выдерживал и звал послушать сказку днем.

— Неужели вам не надоело кататься? Каждый день одно и то же. Что за интерес лежать на брюхе и портить при этом одежду? — начинал он и выпячивал пренебрежительно нижнюю губу.

Но он не умел притворяться, а мы понимали, в чем дело, и не поддавались на его уловку. Разве что найдется один маленький простак да пискнет:

— А может, и правда пойдем? Мои бурки промокли до нитки.

И это придавало Аяну силы.

— Да разве это сани? — фыркал он и морщил нос. — Не сани, а сплошное недоразумение. Вот достать бы сани с рулем и мотором, да с фарами. Такие, чтобы не только вниз, но и вверх забирались. Это я понимаю!

— Э, выдумываешь все! Разве такие сани бывают, чтоб и вниз, и вверх? — удивлялись мы.

— Еще какие бывают! Ну, как летающий конь. Ну, словно конь Тайбурыл!

— Конь Тайбурыл? На котором ездил батыр Кобланды?

— Ну да. Так и эти сани. Им что вниз, что вверх, все одинаково!

Спорить с Аяном никто не решался: если он это утверждает, значит, такие сани существуют на самом деле.

"Вот бы мне такие сани, про которые говорит Аян", —  
думал каждый из пас.

Странный был характер у Аяна. Выхожу как-то поздно перед сном на улицу — дай, думаю, подышу свежим воздухом — я вижу: кто-то впопыхах несется с горы на санках. Шум такой, будто гора Ешкиольмес поползла со своего места. Что за чудак, думаю, кому взбрело кататься в такое время? А шум все ближе и ближе, и вот прямо на меня выехала черная фигурка. Лунный свет озарил ее, и я узнал Аяна. Его рот растянулся в счастливой улыбке от уха до уха, полы шубенки развеялись от спешки, будто бы Аян торопился наверстать упущенное и притом еще покататься впрок.

Я окликнул его.

— Это ты! — произнес он возбужденно. — Вот Садык дал сани до завтра. Идем кататься!

— Ты что, сошел с ума, кататься в такое время? Скоро полночь, а ты — кататься на санках!

— А ты разве не знаешь? — спросил Аян удивленно. — Разве не знаешь, что лучше всего кататься при луне? В такое время у саней появляется особое свойство. Ну, вроде крыльев.

Вот этого я не знал, а потому, опешив, промолчал Аян между тем побежал на горку и немножко погодя опять понесся вниз. Вот он

возник в полосе лунного света, и мне почудилось, что он вправду летит. Ну, не так, чтобы высоко, в каком-нибудь сантиметре от земли, но летит, черт возьми.

— Ура! — закричал Аян и победно поднял руку.

"Наверное, и вправду у саней при луне вырастают крылья", — подумал я, побежал домой за своими санями и начал шарить во мраке сеней. Как всегда бывает, под ноги лезли ведра, тазы и гремели, проклятые.

— Э, да кто-то ходит в сенях, — сказала за дверью мать, — наверное, опять зашла собака.

Она открыла дверь, когда я нашел наконец-то сани и навострился бежать. Но мать так и припечатала меня полоской света, вырвавшейся из комнаты.

— Ах, это ты расшумелся?! И что тебе понадобилось здесь, скажи на милость? — спросила мать.

— Мам, я вот хочу покататься на санках.

— Дня тебе мало? — рассердилась мать. — Ишь, взбрело в голову, когда люди добрые спят. Разве ты вор, чтобы кататься тайком от всех.

— Аян вон катается, он говорит...

— Аян, Аян... чтоб он провалился в преисподнюю, ваш Аян. Только и слышно: "Аян говорил.. Аян то... Аян это!" Оставь сейчас сани и марш в постель.

Она выхватила сани, швырнула их с грохотом в угол, а мне достался увесистый подзатыльник.

Ужасно огорченный, я побрел в комнату, разделся, лег рядом с дедушкой и долго не мог уснуть. В моих ушах все еще стоял шорох полозьев, скользящих по снегу. И, когда все- таки сон сморил меня, мне приснился Аян, летящий на крылатых санях вверх, на вершину Ешкиольмеса...

### 3.

Зима долго баловала нас хорошей погодой. Потом наступил день, когда небо заволокло тучами, и из степей подул колючий холодный ветер. В тот вечер лампы в ауле зажглись раньше обычного. Но мы не изменили своей традиции: как ни в чем не бывало собирались на крыше конюшни и начали скручивать цигарки, готовясь выслушать очередную сказку. Помнится, лицо Аяна светилось тихой радостью.

— Ребята, что со мной было! Скажу — не поверите. Сегодня под утро я увидел папу,— сказал он голосом человека, получившего невиданный подарок.— Правда, правда. Вчера мне постелили папино пальто, а оно пахло папой. Похоже на запах полыни. Бабушка при жизни говорила: "Я твоего отца, знаешь, где родила? На Полынном холме родила, на самой верхушке. Пошла за скотиной и вот родила". Видно, с тех пор у папы и остался запах полы-

ни, горький, горький и хороший. Я уткнулся носом в пальто, долго лежал так и уснул И мне приснился папа, здоровый, веселый. Глядит на меня и смеется все.

— А я укрываюсь папиным пальто. Оно тоже пахнет полынью,— заметил кто-то из ребят.

И тут пошли разговоры об отцах и братьях, словом, чем пахнет оставленная ими одежда. И что интересно, все сошлись на том, что от их отцов и братьев тоже пахло полынью, будто и они родились на Полынном холме, что стоял неподалеку от нашего аула. И тогда все уставились на Аяна, предоставив ему решающее слово.

— Ребята, я тоже пахну полынью. Наверное, потому, что очень похож на папу. Так все говорят. Можете сами понюхать,— сказал Аян смущенно.

Мы потянули носом: и точно, от Аяна донесся далекий запах полыни. Он был горьковатый, его ни с чем нельзя было спутать. А может, нам просто показалось, так как мы привыкли верить каждому слову Аяна.

— Да, от него пахнет полынью,— авторитетно заявил Садық, поставив тем самым крест на наших сомнениях.

Как вы догадываетесь, Есикбай не мог стерпеть того, чтобы от кого-то пахло полынью, а от него нет. Он тщательно обнюхал свой рукав, грудь и сообщил:

— Если на то пошло, от меня тоже пахнет полынью! После этого каждый принялся нюхать свои рукава, и со всех сторон понеслось:

— Я тоже пахну полынью!

— И я!

— И я!

Надо сказать, мы все были очень довольны новым открытием, радости-то было сколько — не передать. Наконец ребята угомонились, и Аян приготовился к рассказу, прочистив горло.

— Подожди,— сказал Есикбай,— я хочу спросить у Царапки: почему он не дал тебе санки? Вчера была его очередь.

— Мои санки сломались...— захныкал Касым-царапка.

— Ага, они сломались именно вчера. Не раньше, а именно вчера. Эка их угораздило сломаться так вовремя. Удачное совпадение, не правда ли?— продолжал гнуть свое Есикбай.

— Ну и дай ему свои, если тебе так хочется,— огрызнулся Касым-царапка, поняв, что его разоблачили,

— Я-то не жадничаю,— сказал Есикбай.

— Ребята, хватит вам! Из-за такого пустяка,— вмешался Аян.

— Не мешай, Аян. Надо же проучить,— не унимался Есикбай и, сорвав с головы Касыма лохматую шапку, сбросил ее с крыши на землю.

— Ну зачем ты? Он простудится. Я могу обойтись и без санок,— заступился Аян за Царапку.

— Не простудится. Пусть поскорее убирается отсюда,— и Есикбай угрожающе приподнялся.— Ну, кому говорят?

Касым-царапка неохотно слез с крыши, поднял шапку и, нахлобучив ее на самые глаза, пообещал перед уходом;

— Вот пожалуюсь Туржану. Он вам задаст тогда!— И удалился, ругая вовсю Есикбая и ни в чем неповинного Аяна.

Брат его Туржан еще до войны славился буйным нравом. Месяц назад он вернулся с фронта без руки и теперь полагал, что ему позволено все.

— Я контуженный,— говорил обычно Туржан.— Я кровь за вас проливал, такие вы сякие!

И особенно доставалось от него мальчишкам. Вот почему Касым-царапка пугал нас расправой брата. Но сейчас мы никого не боялись — мы ждали новую сказку.

В тот вечер Аян вернулся к сказкам о мальчике-сироте.

— ...Он проехал, наверное, тысячу километров на уродливом жеребенке, и вдруг тот заговорил человечьим голосом: "Видишь высокую гору? Она самая высокая в мире. Но мне она нипочем. У меня есть складные кры-

лья. Надо только дождаться, когда наступит ночь. А днем даже птица не может перелететь через нее, потому что боится опалить свои крылья под лучами солнца. Гора-то, вон, до самого солнца, видишь? Но когда солнце сядет и станет прохладно, мы полетим. Только, смотри, не упади, держись покрепче и лучше зажмурь глаза. Потом я скажу, когда можно будет открыть. Так и скажу: "А теперь можно открыть глаза", — понял?

В общем перемахнули они ночью на другую сторону самой высокой горы и увидели пещеру. Там кто-то спал у костра. "Тут и живет это одноглазое чудовище", — сказал жеребенок мальчику-сироте.

Аян вытаращил глаза, посмотрел на нас так, словно увидел впервые, и снизил голос до шепота, как будто то самое одноглазое чудовище могло его услышать. Он проделал это настолько ловко, что по нашим спинам пробежали мурашки, и черный остроконечный силуэт Ешкиольмеса показался нам той самой юрой, за которой хрюпало в своей пещере одноглазое чудовище. И холодный ветер, что дует сейчас, кажется порождением его храпа. Гора потихоньку раскачивается под этим ветром, поднимаясь и опускаясь при вдохе- выдохе, точно тундук юрты. Мы боимся дышать, дышим осторожно-осторожно, и я вижу,

что вот уже никто не решается повернуть голову в сторону горы Ешкиольмес...

А ветер дул надсадно, иногда швыряя в лицо бог знает откуда взявшиеся горсти неприятно мокрого снега. Над аулом собирались черные тяжелые тучи, слетелись сюда со всего небосвода, нависли над домами. Залаяла собака, завыла, точно верный сторож одноглазого страшилы, "Сейчас разбудит чудовище, и тогда держись", — подумал я, невольно поеживаясь.

И тут, на самом интересном месте, кто-то из ребят завопил:

— Карапул! Пожар!

По краю крыши ползла тонкая змейка огня. Ветер подгонял ее, и она ползла быстро, извиваясь, точно выбирая дорогу поудобней. Видимо, кто-то из ребят бросил окурок, и тот угодил на солому, которой покрыли крышу еще в начале осени.

Мы посыпались со стуком с крыши, точно перезревшие плоды с дерева, которое качало ветром, и разбежались кто куда. Последним, оказывается, прыгал Аян, помню только, как вслед нам донесся его болезненный вскрик:

— Ой, нога! Моя нога!

Стыдно признаться, но в этот момент нам было не до него — каждый думал о своей безопасности. Тем более, что по всему аулу хлопали двери, с воплями "Пожар! Пожар!" к

конюшне бежали взрослые, и впереди всех маячила фигура Туржана. Его злой хриплый голос выделялся среди общей разноголосицы.

— Я им задам! Я за них кровь проливал, за сопляков!  
Я нырнул за придорожные кусты и, выглянув затем из надежного укрытия, увидел, как Тур- жан кинулся туда, где лежал скорчившийся от боли Аян.

Темный силуэт задергался в неистовой пляске. До меня донесся посвист камчи, и почти одновременно я услышал умоляющий голос Аяна:

— За что?! Дяденька!

— Я тебе покажу "за что!", — рычал Туржан.

Потом он напоследок пнул Аяна кирзовым сапогом и бросился в конюшню, где тревожно ржали лошади, почувявшие запах гари.

Огонь с трудом осиливал подмокшую солому, и подоспевшие взрослые покончили с ним в два счета. После этого кто-то из мужчин заметил Аяна, поднял его на руки и укоризненно произнес:

— Надо же, как избил мальчишку! Дурная голова, ишь кому мстит за свою руку.

Окружившие их люди соболезнующе цокали и осуждали Туржана. Поняв, что гнев взрослых устремился по другому руслу, мы потихоньку вылезали из своих убежищ и осторожности ради

собрались в сторонке, не глядя друг дружке в глаза. Нам было совестно оттого, что вот так трусливо бежали, бросив товарища в беде.

— Ребята,— начал кто-то, видимо, желая оправдаться.

— Ребята, ребята... Молчи уж,— перебил его грубо Есикбай. Аяна унесли в дом Бапая, и мы, потоптавшись еще немножко, понурившиесь, потому что разговор не клеился, разошлись по дворам.

Когда я заявился домой, взрослые еще бодрствовали. Дедушка сидел, нахохлившись, на приготовленной постели, а у мамы и бабушки был откровенно расстроенный вид. Они словно только и ждали моего возвращения.

— Вот он пришел, храбрец, полюбуйтесь!— сказал сердито дедушка.— Почему только плеть Туржана не досталась этому трусу? Ему- то было бы поделом!

Что я мог сказать в свое оправдание, только стоял у порога да молча водил пальцем по стенке, словно это было такое уж важное занятие. Мой желудок ныл от голода, но у меня не хватило смелости даже заикнуться об ужине. А главное, я казался себе ничтожным человеком, недостойным и того, чтобы его кормили.

— Бедный Аян, совсем одинешенек, и заступиться-то некому. Отец на фронте. А Бапаю со

своей старухой самим нужен глаз да глаз, такие дряхлые,— пробормотала мать, затем она повернулась ко мне и сказала: "Садись поешь, лоботряс".

— Да что-то не хочется,— промямлил я самоотрешенно, боком-боком прошел к постели, разделся поскорее и юркнул под одеяло.

Уснул я на удивление быстро, только успел услышать, как прошамкал дед:

— Сбросить бы лет пятьдесят, ну и проучил бы я Туржана. Совсем озверел, сукин сын.

Проснувшись утром, я увидел, как мать отливает молоко из кувшина в пол-литровую банку. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась и сказала:

— Вставай-ка, позавтракай. А молоко я отнесу Аяну. Изголодался, поди. Говорят, до сих пор лежит пластом, несчастный мальчик.

Я второпях поел и побежал к Аяну. Моя мать еще сидела в доме Бапая и о чем-то шепталась со старухой, которая пряла шерсть. Временами они обе поглядывали на больного. Сам Аян лежал на грубой кошме; ему постелили возле печки, но он все равно зябко поеживался под ветхим одеялом, сшитым из лоскутов. Лицо Аяна отекло от побоев, на скуле багровел здоровенный синяк.

— Ну как? — спросил я, подсев к нему поближе.  
---- Да ничего, — ответил Аян, еле ворочая  
языком.

Мы замолчали, да и о чем тут можно было говорить — только поглядывали друг на друга. И я невольно начал прислушиваться к шепоту взрослых.

— Ну и что с ногой? Выправили ногу-то? — спрашивала мать.

— Куда там! Наш старик со вчерашнего вечера бегает как угорелый. Вот и опять с утра убежал. Да что толку, кто в нашем ауле возьмется за это? — проворчала старуха.

— А как же Асылбек-костоправ? Он, говорят, умеет лечить.

— Э, Асылбек уехал в город, будто нарочно. Уж когда не везет, не везет до конца. Да и этот постреленок хороший, — и тут старуха кивнула в сторону Аяна. — Шастает где-то до полуночи. Все ему надо лезть впереди остальных. Пропади его игры пропадом. А нам за него отвечай, за сорванца этого. Свалился на нашу шею. Уж скорее бы кончилась война, да вернулся отец. Тогда бы уж мы и померли спокойно. Все одеяла в доме испортил Во сне- то мочится под себя, как малый ребенок, хоть и умеет сочинять письма, — наклонившись к моей матери, говорила старуха.

Она была глуховата, видать, ей казалось, что ее не слышно совсем, но на самом деле ее бубнящий голос разносился по всей комнате. Аян покраснел, его глаза налились слезами, и, хотя я смотрел на потолок, притворяясь, будто все пропустил мимо ушей, он отвернулся к стене и натянул одеяло на голову.

— Ойбой, это все от болезней,— сказала между тем моя мать, поднимаясь,— ничего, придет время, поправится... Пойду, пожалуй, что-то ломит поясницу. В общем, если что нужно, не стесняйтесь. Коли есть, поможем.

Старуха Бапая отложила пряжу и вышла следом за моей матерью, то ли проводить, то ли еще зачем. Главное, что мы остались одни. Меня мучило желание как-то помочь Аяну, и я придумал тонкий, с моей точки зрения, план.

— Туржана нам не одолеть. Он взрослый, но, знаешь, что мы сделаем: отлупим Касыма. Вот уж тогда разозлится Туржан. Нас много, всех не переловить,— предложил я, стараясь утешить Аяна.

— При чем тут Царапка? Он-то не виноват,— сказал Аян в стенку.

— Ну и пусть. Зато он брат Туржана,— загорячился я, дивясь, как умница Аян не смог оценить такую месть.

— И Туржан ни при чем,— буркнул Аян, не оборачиваясь по-прежнему.

- А кто же тогда виноват? — спросил я, опешив.
- Война — вот кто! Это все она.
- Ну да! Он и до войны был чумной. Все взрослые говорят. Не веришь, спроси кого угодно.
- Теперь не буду курить до самой смерти, — неожиданно заявил Аян.
- И все равно Туржан — злой человек, прямо псих, — сказал я, продолжая упорствовать.
- Аян осторожно повернулся и попросил:
- Подай мне вон то пальто... Нет, нет, не то, рядом... черное, — и он указал на старенькое пальто, висевшее на почетном месте.
- Я придвинул единственный стул и, встав на него, снял пальто с гвоздя.
- Аян бережно принял его, приник к нему щекой и потерся о шершавую ткань. Ноздри его чутко вздрогнули.
- Пахнет полынью. Это папино. Скорей бы он приехал, — сказал он тихо. И, вздохнув, протянул мне пальто:
- Повесь на место, не то увидит бабка и будет ругать. Мол, это вещь, а не игрушка, и пойдет, и пойдет! Не умолкнет до вечера.
- Потом он улегся на спину, помолчал, потрогал синяк на скуле и добавил:
- А папа скоро приедет. Я знаю.

Дней через десять он встал с постели и начал ходить понемножку. Когда он впервые вышел на улицу, нам стало ясно, что дела с его ногой совсем плохи.

Как и раньше, Аян приходил к подножью снежной горки на свое излюбленное место и наблюдал со стороны за катающимися ребятами. Он жадно следил за каждым нашим движением и, если случалось что-нибудь забавное, смеялся от души. Точно был таким же здоровым, как и все ребята. Но когда Садык предложил ему свои сани, Аян покачал головой и отказался наотрез.

— Болит нога,— вздохнул он.

#### 4.

Иногда вечерком, после ужина, я отправлялся в дом Бапая, шел разомлевший, набегавшийся за день. Чаще всего Аян сидел в это время возле железной печурки и подбрасывал в огонь пучки соломы. В дни войны было туго с дровами — край-то наш степной,— и нам приходилось топить соломой. Бывало, хлеб обмолотят каменным катком, и потом остается солома, крупная, точно камыш, а в ней иной раз и встретишь колос с остатками зерен. Солома горит легко, бесшумно тает в огне, колос, в отличие от нее, трещит, стреляет искрами, и ты, услышав знакомый треск, лезешь палочкой в пламя и выгребаешь к себе колосок с поджаренными зернами. И кажется в этот миг, что нет ничего

на свете вкусней, чем каленые зерна. Вот за таким занятием я заставал нередко Аяна.

Если я появлялся в доме Бапая во время ужина, Аян не смел пригласить меня за скромный стол, он молча кивал на кошму, брошенную возле печки, и при этом осторожно косился на Бапая и его старуху. Я забивался в угол и оттуда следил за тем, как проходит ужин в этом странном, по моему мнению, доме. Старики обычно ели пареный талкан<sup>1</sup> с маслом, а мальчику доставались на ужин все те же жареные зерна пшеницы.

— Ты еще молодой, не то что мы, старики. И к тому же у тебя крепкие зубы,— говорила старуха Бапая рассудительно.

Аян кивал, будто соглашаясь, запивал чаем зернышки, а потом, перевернув пиалку дном кверху, перебирался ко мне в угол и спрашивал тихонько:

— Хочешь послушать сказку? Она совсем новая. Только сегодня придумал. Ну как, будешь слушать?

— Спрашиваешь! — отвечал я возмущенно.

— Тогда слушай... Жил-был мальчик... Он был совсем один... — начинал Аян, и для меня наступали чудесные минуты.

*' Талкан — мука грубого домашнего помола из жареного проса, пшеницы, кукурузы.*

Слава богу, ни Бапай, ни его старуха не мешали нам. Они ели свой разбухший в масле талкан, пили чай с наслаждением и в неимоверном количестве. Затем разморенный чаем старик перебирался на постель,

долго мял подушки, с удовольствием рыгая, и порой шутил:

— И что вы шепчетесь, шепчетесь, а? Ишь, заговорщики! Наверное, задумали выкрасть чью-нибудь дочку? Признавайтесь?

А старуха ворчала ему в тон:

— Говорят, плохой пес лает без конца, лает и лает. Так и наш парень: и жужжит, и жужжит без умолку.

Перед тем как лечь, она убавляла и без того слабый огонь в лампе-семишинейке, приговаривая:

— Так и керосина на вас не напасешься, бездельники. Все бы вам болтать.

Наконец они засыпали, а мы еще некоторое время забавлялись сказками под их храп. Аян извлекал из кармана штанов драгоценный запас обгоревших зерен и, сдув шелуху с ладони, делился со мной.

— Очень вкусно, правда? — спрашивал он.

Я соглашался с ним, хотя вкус жженного зерна не вызывал у меня иного желания, как выплюнуть тайком это чересчур "изысканное" блюдо.

Иногда мне удавалось принести ему маленький кусочек жесткого сухого хлеба.

Зрачки его расширялись, точно у кота, увидевшего мышь, но он старался есть степенно, не роняя достоинства.

Однажды после обильного снегопада кто-то из ребят предложил поиграть в снежки. Мы выбрали двух атаманов, а затем разделились поровну. И тут-то Аян, крепившийся до сих пор, не выдержал и попросил, чтобы его приняли в игру.

— Зачем ты нам нужен, такой хромой? Тебе даже бегать нельзя, какой же интерес играть с тобой, ну, сам посуди,— заявил один из атаманов.

На глазах Аяна выступили слезы, он повернулся и понуро побрел прочь, еще пуще хромая. Мне так жаль было его, что я не выдержал и побежал следом за ним.

— Аян, куда ты?!

— Да тут...— только и сказал Аян, боясь заплакать.

*Я* пошел рядом с ним, некоторое время мы молчали оба. Так и шли, пока не поровнялись с домом Асылбека-костоправа. Здесь Аян вздохнул тяжело и свернулся во двор Асылбека. *Я* решил не оставлять его до конца и последовал за ним.

Старый Асылбек чистил сарай от навоза. Заметив нас, он оперся на лопату и спросил еще издали:

— Что вам нужно, ребята?

— Дедушка, будьте добры, сделайте что-нибудь с моей ногой, Я тоже хочу бегать,— сказал Аян умоляюще.

Костоправ прислонил лопату к стене, подошел к нам и критически посмотрел на ноги Аяна.

— Бапай мне говорил.. Но ты отказался сам. Теперь, пожалуй, поздно: нога так и останется кривой,— пробормотал Асылбек осуждающе.

— Дедушка, сделайте что-нибудь. Мне очень хочется бегать,— повторил Аян.

— Э, думаешь, это просто — поставить сустав на место? А тебе станет больно, ой, как больно! Будь я настоящий доктор, это бы другое дело... А старый Асылбек — деревенский костоправ, и всего-то,— проговорил Асылбек, а сам не сводил с Аяна испытующих глаз.

— Дедушка...— опять затянул мой бедный товарищ,

— Так и быть, детка, так и быть, постараюсь,— засуетился вдруг Асылбек.— Заходите, племяннички, в дом, заходите. Эй, старуха, дай-ка племянничкам поесть!— крикнул костоправ, повернувшись к окну.

За темным стеклом возникла его жена и закивала: мол, слышу. Мы вошли в дом, разделись робко, хозяйка усадила нас, одеревеневших от смущения, на почетное место и угостила баур- саками и айраном. Мне пришлось есть за двоих,

потому что Аяну не шел кусок в горло. Чуть погодя появился сам Асылбек.

— Ну что, подкрепились, племяннички? — спросил он с порога весело.

Аян кивнул.

— Это хорошо, — продолжал Асылбек, снимая калоши. — Ты, жена, постели нам чистое одеяло... Вот. А ты, орел, ложись. Смелее, смелее! Сам пожелал, тебя никто не неволил. Значит, нужно быть мужчиной до конца!

Он натер курдючным салом больную ногу своего маленького пациента, долго ее массировал. Я чувствовал, как напрягалась каждая клеточка тела Аяна. Он беспокойно следил из-под полуопущенных век за ловкими руками Асылбека, приподнимая голову, чтобы лучше видеть, что тот вытворяет с его ногой, и держал так голову до тех пор, пока не уставала шея. А костоправ массировал ногу и говорил, стараясь отвлечь внимание Аяна, и вдруг сделал незаметное для меня движение. Об этом я догадался только потому, что Аян завопил, как резаный:

— Ой! Больно-о!

— Ну вот и все, — сказал Асылбек, поглаживая больное место.

Потом его жена принесла чистую тряпку, а костоправ туго перебинтовал ступню Аяна и

даже откинулся назад, любуясь делом рук йвоих.

— Красиво, а? Теперь тебе позавидуют все мальчишки.— И серьезно добавил:— Будем надеяться на лучшее. И все-таки поосторожней с ногой.

Пришла весна.

Колхозу не хватало рабочих рук, и мы вышли в поле вместе со взрослыми. Обязанности наши поначалу казались несложными: сиди верхом на воле, запряженном в соху, да время от времени погоняй его прутиком. А позади на плуг налегают женщины, потому что их мужья ушли на фронт и делать эту работу более некому.

Пахать мы начинали спозаранку. Волы медленно брели по мягкой оттаявшей земле, тащили за собой плуг, за плугом шагали женщины, за ними тянулся черный жирный след — пласт перевернутой почвы.

Но вот лемех утопал глубже, чем следовало, и вол останавливался, уже не в состоянии преодолеть добавочную нагрузку. Он отошел за зиму и изнемог, потому что и зимой возил то сено, то зерно. Теперь он стоит, дрожа мелко от напряжения, пуская голодную слюну, и тут-то начинается работа мальчишки, сидящего на его спине.

— Ну, пошел! — орет мальчишка и хлещет вола прутом по спине, по крупу, на которых едва спела запечься кровь от прежних ссадин

Вол напрягается из последних сил и тащит плуг дальше, до следующей заминки. И так с утра до вечера кричишь до хрипоты, сидя на острой, костлявой спине вола. Горло сохнет от крика, руки висят, наливвшись тяжестью, в желудке пусто, и от всего этого идет кругом голова. А за спиной слышится тихий усталый упрек:

— Сынок, ну что же ты?

И снова поднимаешь кнут. Вол вздрагивает от удара, но шаг его все так же медлителен и вял. Хочется свалиться на землю, плакать и стучать по земле кулаками.

Женщина, бредущая за плугом, угадывает твоё состояние. Она берет кнут из твоих рук и сама нахлестывает, подгоняет скотину, а тебе говорит участливо:

— Держись крепче, сынок. Смотри не упади.

А у самой темные круги под глазами от усталости, шаг неверен и пальцы дрожат. Но едва кто-то из женщин заводит песню, она начинает подпевать:

*Ох и высока гора Кокше,  
Как трудно получить весточку от родного,  
Который далеко.*

За ней подхватывают у второго плуга, потом у третьего, и песня тихо стелется над полем, как печальный вздох, вырвавшийся из потаенных глубин души. Песня эта грустная- грустная, у нас перехватывает горло, становится жалко и женщин, и себя, и ни в чем не повинную скотину. Но плакать нам не позволяет мужская гордость!

Аян так и сказал после первого рабочего дня, когда мы лежали пластом в землянке:

— Плакать каждый умеет. Если ты настоящий мужчина, держи себя в руках.

Землянка наша темна, черна, точно пещера. Керосиновая лампа дела не меняет, свет ее тускл настолько, что мы даже не видим свой ужин. Просто по вкусу узнаем — варево из тал- кана. Поев кое-как, мы валимся прямо в одежде на тощий слой соломы, который заменяет нам ложе, и сразу засыпаем. Нам кажется, что сон длится всего минуту. Не успеешь смежить веки, а бригадир Туржан уже кричит, сунув в землянку голову:

— Эй, сорванцы! Подъем!

Голос его осип, потому что в эти дни он скандалит вдвое больше обычного. Вот и сейчас он трясет за плечи едва ли не каждого, орет в ухо, тащит волоком к выходу твое, будто тряпичное, тело.

И все повторяется снова. Ты опять на остром хребте скотины и опять кричишь:

— По-шел! По-шел! — и опять поднимаешь кнут и бьешь вола, пока не онемеет рука.

К обеду начинаешь дремать от усталости и голода и, задремав, летишь на землю, на рыхлые пары. Тогда останавливается вол, довольный передышкой, останавливается женщина, затем она подходит к тебе, на лице ее сострадание. Поругивая войну, женщина помогает тебе встать на ноги и взобраться на крутую спину скотины.

Не миновал такой участи и Аян Только для него это кончилось совсем уж плохо. Он вскрикнул и затих, поняв, что, видно, до конца своей жизни обречен на мучения с больной ногой. Лежал, скорчившись, лишь попросил его не трогать, когда кто-то из взрослых вознамерился снять с него чокай — нехитрую обувь из сыростины.

Аяна подняли, перенесли на бригадный стан. И оставили на попечении поварихи, пока не приедет первая подвода.

Не миновало и часа, как прибежала повариха, сама не своя, отозвала меня в сторону и зашептала:

— Ну и характер у этого мальчишки! Такой маленький, а, представляешь, что наделал? Чуть не задушил себя! Да, да, я сама это видела. Заг

— лянула в землянку одним глазом, а он держит себя за горло и давит. Видит аллах, как я испугалась, "Ты что это, что с тобой?" Представляешь, тогда он закрыл глаза, прикинулся, будто спит... Бедный мальчик! Я боюсь за него. Ты бы уж как-нибудь поговорил с ним.

На стан я помчался со всех ног, за мной семенила запыхавшаяся повариха, наставляла вслед:

— Скажи ему: у кого сейчас спокойно на душе? У всех горе. У одного одно, у другого другое. Так и скажи: мол, нельзя так!

Аян лежал на спине с закрытыми глазами.

— Аян! Аян! — позвал я шепотом, сел у него **в** изголовье. Он открыл глаза и, глядя в потолок, сказал:

— Знаешь, я хотел умереть. Ну на что я такой, думаю. А потом вспомнил про папу...

Аян не договорил, ткнулся носом в расстегнутый ворот рубахи и произнес, слабо улыбнувшись:

— Тоже пахнет полынью. Горько-горько... Вот придет папа, уж он-то что-нибудь придумает... Отвезет меня в город. Там врачи в белых халатах... Он скажет им: "Вылечите моего сына". И они вылечат так, что бегай сколько угодно, прыгай — и ничего. А потом он поведет меня в школу...

Аян размечтался, стал рассказывать, как они начнут жить с отцом, когда тот вернется, а я слушал его, позабыв обо всем, потому что это было интересно, как и придуманные им сказки.

----- Вот увидишь: скоро закончится война и папа приедет. Только разобьют фашистов, и он приедет,— сказал он твердо.

Я безоговорочно поверил ему, ну, в то, что его отец вернется скоро. Мне очень хотелось, чтобы этот незнакомый мужчина приехал в наш аул и покончил с одиночеством моего товарища.

К вечеру прикатила подвода с семенами для сева и, разгрузившись, увезла Аяна в аул

Что и говорить, нелегкое выпало детство и мне, и всем моим сверстникам. Бои полыхали где-то в далеких землях (нам трудно было представить эти края, поросшие густым лесом и занятые степью, не похожей на нашу), но война шла везде, и у нас были свои раны, большие и малые. Потом они зарубцевались, но и по сей день рубец нет-нет да и напомнит о себе. В нашем ауле, пожалуй, не найти человека, которого бы в это время минуло несчастье.

Вслед за Туржаном с фронта вернулось еще несколько человек. И каждый принес с собой страшную мету войны. Кто приехал без ноги, кто без глаз, кто, как и Туржан, без руки,— и все равно их появление становилось праздни-

ком для всего аула. Потому что вместо иных ушедших на фронт пришли похоронки. Но особенно жестоко жизнь обошлась с мальчиком Ляном...

Я помню тот знаменитый день в середине лета, когда пришло извещение о смерти его отца. Нойна подходила к концу, в то время только и было разговоров, что вот-вот вернутся те, кто остался жив, и оттого это событие показалось мне особенно трагичным.

Аян бежал за нами по пыльной улице, припадая на больную ногу. Он придерживал штаны, болтающиеся на его исхудавшем теле, и кричал:

— Эй вы! Да подождите же! У меня есть новая сказка! Даже не представляете, какая интересная. Ну куда же вы, ребята?

А нам в разгар игры не до него. Еповоротливый, слабый, он был для нас обузой в такие минуты. Он отстал от нашей оравы, что оголтело летела по улице, и побрел в полном одиночестве. Тут-то его и нашел человек из сельсовета. Говорят, посыльный долго маялся, не зная, как вручить извещение, Аян смотрел па него с тревогой и никак не мог понять, что же хочет этот человек. Наконец посыльный сунул в руки Аяна страшный листок и пустился прочь чуть ли не бегом.

Мы видели издали, как Аян прочитал какой-то листочек бумаги, потом прочитал еще раз и еще, словно не верил своим глазам. Потом сложил его вчетверо, спрятал в карман и начал следить за нашей возней как ни в чем не бывало. Мы тогда еще не подозревали, в чем дело, но по тому, как его лицо стало пугающе спокойным, я почувствовал, что случилось неладное.

— Ну, до свиданья. Я пойду,— сказал Аян и потащился к окраине аула.

— Что-то не хочется домой,— сказал я и потянулся за ним, а он будто не услышал, будто отключился от всего, что происходило вокруг.

Он пошел на конюшню. Здесь было душно, пахло сопревшим навозом. Нудно жужжали черные жирные мухи. Под потолком за балкой, в воробыином гнезде, пищали птенцы. После яркого уличного света в конюшне показалось темным-темно. Я постоял немного, давая привыкнуть глазам, и двинулся по проходу между стойлами, выставив на всякий случай руки.

Аян сидел в дальнем углу на горке сена, спрятав лицо в ладонях. Потом он вытер глаза и вышел из конюшни. Я вновь поплелся за ним. Глаза и нос его распухли, стали красными, но он улыбнулся и сказал:

— Жарко как, а?

С тех пор миновала неделя. Как-то утрецком я отогнал наших козлят на пастбище и,

вернувшись в аул, увидел ребят, толпившихся возле двора Бапая, и подводу, на которой лежал пухлый узел домашнего барахла. Ребята тихо переговаривались, поглядывая на ворота.

— Аян уезжает в детдом,— сообщил стоявший с краю Есикбай.

— Что ты говоришь? Куда он уезжает?— спросил я, ничего не поняв поначалу.

— Говорят, его повезут на станцию. Оттуда поездом.

Из ворот вышел Аян, одетый по-дорожному. Иго сопровождали Бапай со своей старухой и джигит, хозяин подводы. Бапай на ходу наставлял джигита, чтобы тот обязательно довез мальчика до станции.

А старуха обняла Аяна и прослезилась.

— Будь счастлив, родненький,— сказала она, вытирая слезы.— Ты пророс от хороших семян. Твои родители были славными людьми, стань и гы таким же. Будем живы — приезжай.

— Как приедешь, напиши. Ты у нас грамотный,— сказал Бапай.— Жаль, что нет сейчас покупателя. Не то бы продал корову. Теперь уж сведу на базар и потом вышлю тебе деньги.

— Зачем продавать корову?— удивилась старуха,— Аян подрастет, и она пригодится в хозяйстве. Не слушай, детка, дедушку. Он выжил совсем из ума. Когда приедешь, у тебя будет корова с приплодом.

— Зачем мне корова,— сказал Аян и, повернувшись к нам, начал прощаться.

— Я буду писать вам письма, всем! И тебе, и тебе,— говорил он, пожимая руки.

Затем Аян залез на подводу, и возница тронул лошадь.

— Ну, пошла!

К подводе прицепился Есикбай и проводил Аяна до конца улицы. Мы долго стояли так и смотрели, как удаляется телега с Аяном, поднимая за собой серую пыль. Его фигурка постепенно уменьшалась. Аян снял шапку и помахал нам напоследок, а потом и вовсе скрылся за поворотом.

— Ребята, давайте играть!— произнес Касым-царапка, будто ничего не случилось.

— Да что-то болит голова,— сказал Садык и пошел к своим воротам.

— А меня мама зачем-то зовет,— сказал еще один из ребят.

Так в тот день еще задолго до вечера расстроилась компания...

Мы долго помнили Аяна и его сказки. Иногда собирались ненастными зимними вечерами и восстанавливали по слову все, что он когда-то рассказывал нам.

Недавно снова, как и в детстве, я вышел на улицу нашего аула, и мне вдруг почудилось, что под мохнатой шапкой горы Ешкиольмес

спит, сотрясая ее своим храпом, одноглазое чудовище, с которым боролся отважный мальчик-сирота. Где-то теперь этот мальчик, счастливо ли сложилась судьба, или он опять с кем-нибудь борется?

Повеял ветерок и принес с Полынного холма знакомый терпкий аромат. И я подумал: если Аян жив, он непременно приедет сюда. Потому что рано или поздно его поманит горький запах полыни.

## МОЯ СЕСТРЕНКА

*Рассказ*

Когда я приехал в родной аул па зимние каникулы, меня приятно поразила моя младшая и единственная сестренка. О ней я вспоминал еще в вагоне, приближаясь к родным местам и прислушиваясь невольно к сонному стуку колес. Невысокая смуглая девочка Алима всегда была готова вступить со мной в горячий спор, и любому было понятно — только для того, чтобы подразнить меня. Ее маленький вздернутый носик, казалось, все время ждал, что его хозяйка вот-вот звонко рассмеется. Густые длинные косы покоились на спине ее, а на лоб, буйно кучерявясь, падала густая челка. Глядя на челку, я частенько выходил из себя. Ну и доставалось же тогда моей сестренке! Вообще, честно

"Э, да моя сестреночка превратилась в настоящую красавицу!" — наконец прозрел я и вспомнил слова матери, что девочки очень быстро взрослеют. Однако я ожидал увидеть прежнюю озорницу-задиру, и мне стало немножко грустно. Но ненадолго. Решив, что в свои семнадцать лет сестра имеет полное право на подобное превращение, я совсем успокоился и с гордостью опять подумал: "Она красивая!"

Разговор наш пока что не клеился. Я несколько раз порывался начать его, но все не решался. Что-то удерживало меня. Да и сестра молчала, хотя раньше засыпала меня расспросами о городе, о студенческом житье-бытье, слушала меня чуть ли не с раскрытым ртом, бесконечно удивлялась и переспрашивала.

Наконец я спросил Алиму, в какой институт она думает поступать. Она ответила:

— Не знаю... Еще не решила, — и натянуто улыбнулась. Потом, подумав, добавила: — Может быть, останусь в ауле.

После ужина Алима ушла в свою комнату готовить уроки, а мы с матерью сели пить чай. Мать неторопливо расспрашивала меня об институтских новостях, куда я думаю поехать после окончания и каковы вообще мои планы. Ей были давно известны все мои планы, и спрашивала она, видимо, только дня того, чтобы не

молчать. И я ответил в который раз, что через дна года, возможно, буду работать в нашем ауле агрономом. Потом она сообщила мне новости аула. Оказывается, некоторых десятиклассников колхоз посыпает учиться в школу механизаторов и еще на какие-то курсы.

— Ты, наверное, знаешь Нурлана, сына Дукена?

- Так себе, не очень...

Действительно, многих ребят, окончивших школу после меня, я почти не знал: приезжаешь на каникулы,— они где-нибудь гостят или работают. Я припоминал чей-то рассказ, что этот Нурлан окончил школу в прошлом году и поступил работать на электростанцию, выучился на монтера.

— Где же сейчас работает Нурлан? — осведомился я у матери скорее из вежливости, чем из любопытства.

— На станции. Помощником техника, что ли... **Ом** стал совсем взрослый, мог бы прокормить семью, но колхоз надумал направить его учиться на три года. И зачем только людям нужно так долго учиться! — заметила она неодобрительно.

Я понял ее. Она обижалась, что я редко навещаю ее и даже практику прошлым летом проходил не в нашем ауле, и, вздыхая, жаловалась соседкам: "Э, недаром говорят — мать думает о сыне, а сын — о степи!".

И вот сейчас она опять вздохнула. Этот вздох, конечно, был по моему адресу.

— Это хорошо, что он будет учиться,— сказал я, всей душой желая Нурлану успеха.

Мои слова не понравились маме. Она долго, сосредоточенно пила чай, батистовым застиранным платочком вытирала лицо, и, откинув тюль на окне, посматривала на улицу.

— Ты с Алимой не говори резко, а то обидишь,— попросила она, словно подытоживая свои и высказанные, и невысказанные мысли.

Я только пожал плечами. К чему эти предостережения? Раньше, кажется, мать не интересовалась, каким я тоном говорю с сестрой. На жалобы Алимы она неизменно отвечала: "Это твой старший брат. Слушайся его".

А вот теперь все по-иному.

На следующий день Алима пришла из школы с расстроенным лицом. Я решил, что причина этому — уроки,— в десятом классе учиться нелегко, не стал ее расспрашивать и взял дневник. Алима, неотрывно следившая за мной, вдруг вспыхнула:

— Ага, а разрешения вы спросили?

Впервые перед сестрой мне стало неловко, но я не подал вида.

— Я, по-моему, здесь не посторонний, и разрешение, мне кажется, не обязательно,— и, ме обращая внимания на ее протест, стал лис- гать дневник.

Вскоре, однако, я смягчился и даже улыбнулся довольной улыбкой: на каждой странице дневника стояли пятерки, и только сегодняшняя Тройка портила немного общий вид.

— Да ты, оказывается, кандидат на золотую медаль! — сказал я радостно.

Алима промолчала. Сидит передо мной напряженная, бледная, в глазах тоска.

— Алима, что с тобой? Тебя кто-то обидел?

Округлый подбородок сестренки задрожал, по щекам, оставляя мокрые узкие дорожки, покатились слезы. Я осторожно закрыл дневник и хотел положить на стол, но тут из дневника что-то скользнуло на стол Фотокарточка. Я нагнулся, чтобы поднять ее, но сестренка опередила меня:

— Я... сама... Дайте мне!

Я даже не успел рассмотреть, что за парень был на снимке.

С этого дня сестренка и вовсе стала для меня загадкой. Стоит мне с нею заговорить — теряется, отходит, придумав какой-нибудь предлог. Словом, совсем замкнулась.

Я сидел и читал в дальней угловой комнате. Солнце стояло еще высоко, хотя полдень давно

**5-1445**

65

миновал. Мимо моего окна прошли парень в спортивной куртке и девушка. Через минуту раздался стук в дверь. Я скорее почувствовал, чем осознал, что сейчас разгадаю секрет Длимы. Мигом я очутился возле двери. Гости, видимо, не ожидали увидеть меня и смутились. Я только собрался пригласить их в дом, как к нам выскоцила Алима. Увидев меня, чуть вспыхнула и повернулась к парню в спортивной куртке, который стоял, смущенно опустив глаза.

Девушка опередила вопрос Алимы.

— Нурлан пришел к тебе за книгой,— сказала она, но в ее маленьких хитрых глазах светилась какая-то тайна, они словно говорили Алиме: не верь, он не за этим пришел к тебе. Лицо Алимы то заливал румянец, то оно бледнело. Мне показалось даже, что сестра дрожит.

— Какую книгу?— спросила она шепотом, \_чуть не плача.

Парень смутился еще больше. Спасая положение, я поспешил сказать:

— Алима, почему ты не приглашаешь гостей!  
Заходите! Заходите!

Они вошли в комнату, но Нурлан не сел на предложенный стул:

— Я очень тороплюсь... Я сейчас должен ехать...

Должен ехать! Наконец-то до меня дошло, что мое присутствие в комнате совсем не обязательно! Я ушел в другую комнату. Однако беспокойство, почти неосознанное, охватило меня. Я не мог усидеть на месте и стал ходить из угла в угол, изредка бросая взгляды на открытое окно. Я увидел кусок шоссе, что вело на станцию. Тополя, посаженные вдоль него, вытянулись и образовали зеленый коридор. При виде шоссе, этих тополей я вдруг вспомнил, как впервые, отправляясь учиться, покидал аул. Вон там, возле того холмика, я поймал попутную машину. Вместе со школьными друзьями меня провожала и Сауле... Я и сейчас помню, как она долго махала вслед удаляющейся машине. И осталась стоять даже тогда, когда другие провожающие уже спустились с пригорка. Мимо Сауле проносились машины, но она не замечала их. Она стояла и махала рукой, и мне казалось, что ее рука не прощается со мной, а зовет: "Вернись, вернись..." На самом деле Сауле шептала: "Кош, кош... — Прощай, прощай..."

Но время и километры рассуждают иначе и часто решают за людей. И счастливцы те, кого они не разлучают...

Мы с Сауле долго переписывались. Она подробно сообщала аульные новости, а я коротко отвечал, что в городе, которого она

никогда не видела, вроде нет никаких изменений. После семи месяцев переписки она не ответила на мое письмо. Я ответил тем же, то есть тоже не написал Но когда приехал на каникулы и узнал, что Сауле вышла замуж, я понял что она была еще мне дорога.

И теперь это шоссе с зеленой бахромой листвы стало для меня единственной памятью о Сауле. Я вижу ее, одиноко стоящую на дороге, вижу ее руку, прощальную, зовущую...

И вот сейчас, на этой дороге, стоит моя сестра. Она машет вслед повозке, на которой уезжает Нурлан.

И рука ее тоже зовет, а может быть, Алима сейчас так же, как и Сауле, шепчет: "Кош, кош..."?

Я упал лицом вниз на диван. Разноречивые мысли и чувства нахлынули на меня. В комнату вошла мама. Она стояла в дверях, видимо, не понимая, сплю я или просто лежу. Потом тихонько подошла к столу и стала бесцельно листать какую-то книгу. Я поднялся. Мне показалось, что на ее лице прибавилось морщинок.

— Нурлан уехал учиться,— печально сказала она.

— Пусть едет. Правильно делает...

Мои слова снова не понравились маме. Она замолчала. И тут в комнату ворвалась Алима. На ее милом лице сияла безудержная радость.

Она подбежала к матери, схватила ее за плечи и закружила по комнате. Мать пыталась ей что-то сказать, но Алима громко зашептала ей на ухо:

— Мама, мама, не надо, не говори! Я ему верю, верю... Ага,— обратилась она ко мне,— я жду твоих трудных вопросов! Задавай сколько хочешь!

Я залюбовался ею. Мне показалось, что снова передо мной моя прежняя сестренка, и только в ее глазах я приметил едва-едва уловимую тайну, глубокую тайну первого сильного чувства...

## КАМЕН-ТУГАЙ

### *Рассказ*

К югу от нашего аула пролегает глубокий пират, заросший деревьями и кустарниками, да так густо, что собаке не пробиться. (сребристый тополь, береза, осина, могучий карагач и гибкий тальник растут здесь дружной семьей). Подует ветер, и зашумит, заговорит тугай<sup>1</sup> —всему аулу слышно. Птицы слетаются и зеленые заросли, и нет конца их разноголосью.

Я люблю приходить сюда, когда выпадает свободная минута. Спускаюсь по тропе к ручью, журчащему на дне оврага.

<sup>1</sup> Тугай — рощица.

Лет десять назад не было никакого тугая. Росли в овраге черный камыш да куга, скрывали они мрачную топь, куда легко было забрести, да трудно выбраться.

Как-то летом перекочевал к нам с семьей колхозник из соседнего аула. Звали его Камен. Аулчане пытались сосчитать его детишек, да сбились со счета.

В то же лето построил Камен из самана небольшой домик прямо у крутого склона оврага,

— Эй, приятель! — подщучивали над ним, — Зачем у оврага строишься? Дети оступятся — в топь попадут. Не вытащиши!

Не сердился на шутки Камен, отмалчивался. Только осенью, перед самым снегом, взял огромную косу и начисто смахнул камыш в овраге. Точно бритвой прошелся. Потом достал из мешка гибкие прутики, воткнул в топкую почву. Ни один не выскользнул из его корявых добрых рук, не упад не согнулся. Будто малые ребята давно ждали своей мягкой постели.

А народ свое:

— Ой, сосед! Или у тебя забот мало? Вон сколько ртов бегают. И что за польза тебе, что тугай здесь вырастет?

— А пускай растет... Без пользы, — отмахивался Камен

С тех пор и прозвали люди в шутку этот овраг Камен-тугаем. Весь аул стал так говорить.

Каждую осень добавлял Камсн новые **саженцы**. Не только по дну оврага, но и по склонам разбежались деревца. Весенней порой аружно выбрасывали листву, зимой отдыхали, **набирались** сил под пушистым снегом. И скоро уже появилась зовущая кружевная тень тополей **и березок**.

Частили в гости к Камену соседи. Разве не приятно поговорить о том о сем у журчащего ручья под зеленым шатром? И разве могут помешать птицы неторопливой беседе друзей?

Деревьям, растущим на склонах, тяжко приходилось от сильных ветров, не хватало и паси. Не раз и не два нужно было подкармливать их, поливать водой из ручья. И никаких сил не хватило бы Камену, если бы не ребятня. Разбегутся, бывало, смуглоногие с недрами по оврагу. С утра до вечера в тугае. Шумят, галдят, будто утят.

Лулчане удивленно качают головами. Жена Камсна вроде недавно получила звание матери-героини. А вот принесла еще. И опять (нмпнецов, добрых джигитов.

Ну и Камен,— говорили ему.— Не **поймешь**, чего больше становится: деревьев в **гугае** или у тебя детей?

Настоящий батыр, — кивали седобородые. — Пусть деревья растут и дети растут, **шумят**, крепнут, хороший след за нами (и ганется.

Счастливо улыбался Камен: разве такие слова не тронут душу?

Тугай нравился всем, а вот семья Камена — не каждому. Знали, что и не жаден он и угостить готов, но не засиживались гости. Оглушенные ребячими криками, веселой суетой, они торопливо прощались с хозяином. "А если бы у меня? И так каждый день, каждый час". Не все так думали, но многие.

Это было похоже... Трудно сказать, на что похоже. На репетицию в цирке, что ли... Одни прыгают, другие размахивают кулаками, третья хохочут, как ошалелые. И тут же — рев на весь аул Самые маленькие — самые горластые.

А где же Камен? Да здесь же, в гуще детворы. Матери некогда, она хлопочет по дому. Стирка, штопка, готовка — только успевай. А Камен придет с работы, умоется, и уже совсем не видно батыра. Кто-то забрался ему на шею, другие облепили плечи, пищат, дергают за штаны. Ворочается громадный Камен, как верблюд среди овечек, смеется.

Раз заглянул я к Камену по какому-то делу и глазам не поверил. Посреди комнаты на коленях Камен, притихшие малыши в стороне, а его дочь Айкен, большая уже, на выданье, уселась на плечи отцу и пришпоривает его голой пяткой:

— А ну, вставай! Подними меня, если сильный!

Мять вошла, всплеснула руками.

— Это при постороннем-то? Как не стыдно, вон какая вымахала!

Айкен смутилась и выбежала из дому, закрыв лицо руками.

— Ну зачем ругаешь, женушка? Она же совсем ребенок. Не правда ли?..

В ауле есть радио, и газеты приходят, но старый беспроволочный телеграф работает быстрее. Только новости он разносит не всегда одинаковые, не всегда хорошие.

Безотказно сработал древний телеграф и в тот раз.

Убежала девушка, вечером убежала, едва край солнца коснулся степи, а к тому времени, как люди садились ужинать, весть облетела весь аул

— Слыхали? Айкен... Да, да, замуж, в соседний колхоз.

У дома Камена собирались друзья на конях, лица их были решительны — готовились в погоню за беглянкой,

Камена нельзя было узнать, он плакал Так в слезах и сел на коня. Провел рукавом по лицу и попросил собравшихся:

— Дорогие мои, настигнете их — не трогайте никого. Только Айкен, Айкен привезите домой.

Рассыпались всадники во все стороны. Долго дробный стук разносился по степи, тревожил

ковыль, но девушка и джигит были неуловимы. Всю ночь скакал Камен по холмам и оврагам, не сдерживая горячего коня, а утром приехал домой — свалился с седла.

Его нельзя было узнать, так сильно он похудел осунулся. Казалось, лицо выжали, как гранат. Глаза стали маленькими, ввалились. Кожа на скулах натянулась, нос заострился.

Пришли аксакалы посочувствовать и утешить:

— Встряхнись, батыр! Не мальчик ты, не только родился. Теперь твоя дочь не одна, двое их, радоваться надо. Лучше пожелай счастья молодым.

— Убежала, убежала... — повторял Камен слабым голосом — Оттого и горько, и обидно.

— Да разве ты отпустил бы ее? — вмешалась жена. — Помнишь, я тебе намекала: есть у Айкенжан думка одна. Да ты и слышать не хотел, только злился... Бедная девочка, пришлось бежать тайком, как от чужих.

Она отвернулась и вытерла слезы. Камен тоже не выдержал зашмыгал носом.

— Золотая моя... Совсем еще ребенок, играть любила.

Прошло несколько лет. Разросся тугай Камена, серебристые листья тополей шумят теперь высоко над оврагом. Раньше у нас нельзя было увидеть и общипанного кугтика, а сейчас и на улице стройные молодые топольки.

Подросли и смуглоногие малыши Камена. Приходят в тугай юноши и девушки, совсем как в парк. И еще есть новость: Майкен, сестра Айкен, вышла замуж за счетовода второй бригады нашего же колхоза. Волновался Камен с женой, провожая дочь, не меньше, чем когда бежала Айкен. Зато потом улыбнулся и сказал:

— Хорошо, что детей у меня дома еще много осталось. Вот устрою им жизнь — и голова станет белой. Будут звать друзья: Камен-ай- ран... Что ж, закон природы,— добавил он со идохом.

13 этом году хороший выдался покос. Мы с Камсном скирдовали. Вместе с одним парнем я стою наверху, а Камен подает сено внизу. Ну п силен же, дьявол! Как крикнет, "Ауп!" — целая копна взметается на стог. Вдвоем с напарником мы еле успевали разравнивать. "И кто поверит,— думал я,— что этот гигант может плакать, как ребенок?"

Камен был немного не в себе. Будто не спал ночь или переутомился. Он то и дело останавливался, опираясь на вилы, и тревожно поглядывал на дорогу. Бормотал:

— Апирмай, что-то к сердцу подкатывает...

Наконец он отправился к бригадиру.

Бригадир отпустил нас отдохнуть, в аул.

Подводы попутной не было, и мы пошли пешком, аул всего в пяти-шести километрах.

Полдень. Зной. Молодой клевер качает розовыми бутонами, пьянят запахи высокой, по

пояс, травы, мы бредем, точно сонные. Камена не покидает тревога. Он останавливается и тяжело дышит. Крупные капли пота бегут по глубоким морщинам.

— Заболел? — спрашиваю я.

Камен отрицательно качает головой. Мы продолжаем путь.

— Нас было пятнадцать братьев, — слышу я приглушенный, совсем чужой голос. Невольно оглядываюсь. Нет, кроме Камена, — никого. — Что поделаешь... Одних болезнь в могилу свела, другие с войны не вернулись. Я один в живых.. Эх, какие джигиты были, а следа не осталось. Только и дум у меня, чтобы мои кутята живы были, хороший след на земле оставили.

Он поворачивает меня к себе лицом и строго смотрит в глаза:

— Ты читаешь много. Как там в газетах разных, а? Какой ветер нынче дует, с какой стороны? Только бы войну не принес с собой...

Вот и знакомый овраг. Стая смуглых колобков катится навстречу. Двое малышей обняли ноги Камена, а когда он наклонился поднять третьего, четвертый сам прыгнул ему на спину и ухватился за шею. Еще двоих Камен сунул под мышки и зашагал к дверям.

"Вот для чего человеку даются громадный рост и сила... И сердце", — подумал я.

Навстречу вперевалку затопал совсем крошечный карапуз, смешно шлепая губами:

— Ата! Ата!

— Светик мой! — воскликнул Камен и приподнял его.

— У вас, кажется, не было этого человека? Это марсианин?

Камен, довольный, захочотал, запрокинув голову.

— Родной мой, веточка моя тополиная.

Из дома вышла жена Камена.

— Эй, дед, радостная весть! Вот письмо привез шофер из аула от Айкенжан. Роды прошли благополучно.

Камен схватил мятый листок, что-то забормотал:

— Что же она так неразборчиво?.. Да, хорошо, так и должно быть. Ох, чуял я... С утра не по себе было. Уф! Теперь уж успокоился. Лйда, мать, возьмем гостинцев и поедем. Как будет с ребенком, а?

Видимо, она ждала этого вопроса.

— Неудобно, сам понимаешь. Мы и так взяли у нее первенца.

— Да, ты права. Неудобно, что делать... Пусть будет счастлива,— согласился он как-то грустно.

Я прощаюсь с Каменом. Но он не отпускает моей руки. Идет провожать, радостный, помолодевший. Рядки серебристых тополей шагают вместе с нами по улице.

Мы останавливаемся.

Ветер шевелит серебристые листы, доносит птичью разноголосицу из тугая. Далеко отошли, а слышно. И тополя шагнули далеко от Камен- тугая, идут по нашему аулу, перебегают к соседним.

— Это ветви твоего тугая, Камен

Он не отвечает мне. Заскорузлые пальцы молча гладят тонкую, как у девушки, кожицу дерева.

### НА ПЕРЕВАЛЕ *Рассказ*

Продавец сельского магазина Тураш был отпущен на свободу через три месяца.

Перед ним открылась дверь проходной, Тураш шагнул на улицу и жадно огляделся по сторонам. Три месяца назад стояла лютая зима. Тогда из милицейской машины он видел напоследок голубоватый мертвый лед в арыках, глубокий снег по обочинам и снежную пыль, которую гнал вдоль улицы колючий ветер.

Теперь его у выхода встречала весна. В лицо мягко ударили лучи предзакатного солнца. Истосковавшийся глаз отметил сразу и мутную желтую воду, весело бежавшую в арыке, и набухшие жизнью почки плодовых деревьев. Ощущение воли опьянило его.

Но настала пора сделать первый шаг, и он вдруг оробел. Ему показалось, что стоит шагнуть по улице, как прохожие догадаются, откуда он только что вышел.

Он вобрал голову в плечи и, едва сдерживая прыть, быстро пошел по тротуару в сторону автобусной станции.

На станции было безлюдно. Тураш догадался, 'I го автобус, на котором он мог бы попасть в родной аул, ушел совсем недавно, а это означало, что следующая машина пойдет не скоро, о может, и вовсе не пойдет — время-то пишется к вечеру.

"Может, это и к лучшему, что укатил автобус, подумал Тураш.— В автобусе я бы рехнулся ' писем, столько могло быть знакомых. Пойдука домой пешочком. Так оно будет незаметней. И пядишь, в ауле стемнеет к этому времени, и я ми пибудь прошмыгну к себе в дом".

Он свернул на тихую уличку, та тайком привела его на окраину города, туда, где начиналась пешеходная тропа, уходящая в горы.

Тропа петляла вдоль подножья гор, потом поднялась на бурое и плоское, точно стол, пито. Местами под ноги Турашу попадали пробивающиеся зеленые иглы среди островков прошлогодней травы бетеге. Из нее с шумом поднимались жаворонки, напуганные его появлением. Они повисали в синем небе,

звенели колокольчиком, но потом, убедившись в безобидности Тураша, вновь ныряли в траву.

А Тураш шел и думал о том, что кончилась его безоблачная жизнь. Он пытался представить, как сложится дальше его существование, но от первой же картины, нарисованной воображением, ему стало совсем не по себе. Вот он утром выходит из дома и встречается взглядом со своим соседом... О том, что последует дальше, ему не хотелось думать.

За эти три (будь они прокляты!) месяца он будто отвык ходить. Его ноги быстро устали, со лба ручьями заструился пот. Тураш остановился передохнуть и осмотрелся. Районный центр исчез в низине, а перед ним белели вершины гор, над головой висело небо, точно опрокинутая чаша. Солнце алело, склоняясь к закату, его притущенные края обозначились четко.

"Но вся эта красота уже не для меня. И уважение людей теперь не для меня", — подумал Тураш с горечью. Только и выходило, что есть у него бестолковая жена и более никого на всем белом свете.

Он вспомнил, как на первом же свидании в тюрьме жена наивно спросила: "Неужели из-за какой-то жалкой тряпки тебя оставят в тюрьме? Не горюй, вот увидишь, скоро они разберутся

и отпустят. А в случае чего, найдем человека, как его, адвоката", — закончила она беспечно.

И ее беспечность очень задела его. Разве это главное, сколько тебя продержат в тюрьме? Раньше, признался, он только и думал, как бы идти на свободу. Но вот теперь его отпустили па все четыре стороны, но стало ли ему легко?.. Глупая женщина! Разве не из-за нее он унес домой этот презренный кусок бархата?

Ему хотелось высказать все обиды, что накопились из-за жены. И в то же время он не решился это сделать, потому что вспомнил, как скучал по ней все три месяца, как снилась она долгими ночами...

Он прикинул, долго ли ему осталось идти. Если шагать по этой тропе, то от районного центра до аула едва наберется десяток километров. Когда он спустится в ущелье и дойдет до зимовки Тастана, это будет означать, что за ним половина пути. А дальше дорога тянется все время под уклон, шагай себе и шагай. И так, пожалуй, он дома будет как раз вровень с темнотой.

Тураш начал спускаться в ущелье. Бетеге почти исчезла, теперь стали попадаться таволга и караганник, с маленькими резными листочками. По сторонам тропинки, будто стены, выросли величественные скалы.

А тропа бежала себе меланхолично, огибалася, как нить, камни; те, что помельче, срывались из-под ног путника и с шумом, переходящим в гром, катились в бездну. Этот грохот скрашивал одиночество Тураша, потому что в тишине ему было как-то не по себе. Он с удовольствием сбивал камни с тропинки, но, когда из-за камня показывалась серо-зеленая головка сасыра — совсем как у ящерицы,— он обходил это подлое растение. Попробуй задень, мигом обдаст противным запахом.

Багровое солнце опустилось за горы. Лишь самые высокие заснеженные вершины еще хранили отсвет его пламени. А здесь, в ущелье, сразу потемнело, и воздух, и камни, и трава стали одноцветными — серыми, а огромные глыбы скал вовсе покернели. Теперь гляди себе под ноги в оба.

Вот впереди, внизу, замаячила зимовка Тас-тана. И в это самое время там, в одиноком заброшенном кыстау<sup>1</sup>, сложенном из неровных каменных глыб, вспыхнул огонек, и еще заметил Тураш, что из трубы валили клубы густого черного дыма.

"Кто бы это мог быть?— испугался Тураш.— Кого это занесло в забытое жизнью кыстау?"

*'Кыстау* — зимовка.

От робости, закравшейся в сердце, появилась слабость в ногах. Он чуть присел на корточки, чтобы прийти в себя. Но потом здраво решил, что это могут быть только люди, вдобавок, знающие его, и прикинул, что второе предположение мало его устраивает.

О том, чтобы миновать зимовку тайком, не могло быть и речи. Его мог выдать любой камень, предательски выкатившийся из-под ног. Вот и вышло, что он сам завел себя в ловушку.

Пока он томился в неизвестности, из кыстаяу вышла тоненекая девушка в пестром платыице и белом платке. Она ступала с легкостью детеныша серны, кончики длинных смоляных кос порхали у сухих смуглых икр.

Девушка замурлыкала под нос песенку, наклонилась над вязанкой таволги и случайно повернула голову. Песенка разом умолкла, девушка выпрямилась, мгновение смотрела на Тураша и, вскрикнув, бросилась в дом. Ну, конечно, ее испугало то, что он наблюдал за ней тихо, будто затаившись.

Из кыстаяу донеслись возбужденные голоса, и наружу выскочил высокий парень с могучими плечами. Из-за его спины выглядывала все та же девушка. Парень сложил на груди крепкие руки и выжидающе уставился на Тураша.

Тураш тоже молча рассматривал странную пару — уж не знакомые ли. Убедившись в том, что они встречаются ему впервые, он вздохнул

с облегчением. Но мир в его душе недолго длился, потому что Тураш услышал шепот девушки:

— Да это же дядя Тураш!

— Кто? Кто, ты сказала? — тоже шепотом спросил джигит.

— Дядя Тураш. Разве ты его не знаешь? Он еще работал продавцом в Тастьобе.

— А-а, — протянул парень, — Да он же сидит в тюрьме!

— Тсс, — зашипела девушка.

"Ну, вот и началось!" — подумал Тураш тоскливо.

— Здравствуйте, Тураш-ага, — произнесла девушка, выходя из-за спины своего джигита.

— Здравствуйте, — повторил парень и, точно спохватившись, протянул для рукопожатия широченную ладонь.

Тураш пожал ее и, стараясь как-то объяснить свое неожиданное появление, пробормотал сбивчиво:

— Да вот опоздал., ушел автобус... пошел, значит, пешком... Ну, чтобы не ждать...

Парень кивнул, охотно соглашаясь, а девушка затараторила:

— Мы оттуда, агай, — она показала в сторону соседнего аула, — у нас тут близко огород, на плато. Но там стало холодно.

И парень и девушка смотрели на него ясными, открытыми глазами, но все равно Тураш

боялся подвоха и не знал, как держаться с ними. Поэтому он распрощался наскоро и зашагал дальше.

"Что это: или они притворяются, или не понимают, какой позор лежит на мне?"—ломал он себе голову, торопливо удаляясь от зимовки.

Но, вопреки его надеждам, еще не все кончилось. Они окликнули его в два голоса:

— Агай! Агай-ай! Подождите, агай!

Ему пришлось обернуться — парень и девушка догоняли его по тропинке.

— Агай, постойте. Каскалдак вышел из берегов. Агай, вам придется подождать до утра. Переходить впопыхах опасно. Послушайте нас, агай! — единственным духом выпалила девушка.

— Нам как-то сразу не пришло в голову, ну, го, что вы еще не знаете,— пояснил джигит виновато.

Только теперь Тураш подумал о проказах речки Каскалдак. Летом Каскалдак струился себе не шире ручейка, но весной он принимал в себя талые воды чуть ли не со всей округи и разливался так, что перейти его было вовсе не просто. И, как бы в подтверждение, его ухо уловило отдаленный рев стихии, и он воспринял это как законное невезение. А чего ему еще теперь ждать?

Он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять.

— Идемте к нам, агай! Будете нашим гостем! Мы поженились. Совсем недавно,— сообщил джигит, и по тому, как он смущался, Тураш понял что молодые еще не привыкли к своему положению.

— Да, да вы не были у нас на свадьбе, вот и заходите к нам,— между тем подхватила его юная жена.

— Ну, право, отец,— сказал джигит.

Тураш взглянул в их чистые счастливые глаза и поверил что молодые зовут его от всего сердца.

В кыстай стоял полумрак, в который временами врывались алые сполохи — отражение пламени, мечущегося в печке, сложенной из камня.

Молодые провели Тураша на почетное место, к печке, усадили на брезентовый плащ, под которым были настланы упругие ветки таволги.

— Может, хотите отдохнуть?— спросил джигит и подложил под его локоть свернутый свитер, после чего при желании можно было полулежать.

Молодая женщина захлопотала возле печки, подбросила хвороста, поставила черный от копоти чайник. Вскоре в кыстай стало тепло и уютно. Посвистывал чайник, в топке трещали таволжьи ветки, горьковатый дым пощипывал ноздри, красные отсветы ласкали лицо и руки.

Хозяйка расстелила белый платок, достала из у юлка полка рабайчика хлеба и нарезала аппетитными ломтями. Наконец в чайнике ыклокотало, выплеснулся кипяток и зашипел на раскаленных углях. И Тураш поймал себя на том, что каждая такая мелочь доставляет ему радость.

Хозяйка разлила чай в стаканы, один придвинула гостю.

.. Агай, пейте, кушайте. А мы будем из одного.

Да, да! Нам так даже нравится— как эхо отклинулся джигит.

Тураш, обжигаясь, прихлебывал горячий ароматный чай. И после каждого глотка по его І и нам растекалось блаженное тепло. Давненько он не пробовал этакий удивительный чай. Сейчас оп услаждал тело и душу, будто наверстывал упущенное и пил даже впрок. И только ожидание того, что все-таки молодые мюди не выдержат и сунутся с вопросами, омрачало торжественные минуты.

Но хозяева то ли строго соблюдали законы гостеприимства, то ли вовсе не придавали никакого значения его прошлому. Они перебрасывались малозначительными фразами, продолжая оказывать ему знаки всяческого уважения. Обменивались долгими взглядами, смысл которых касался только их двоих.

Тураш чаевничад пока не кончился кипяток. Молодая хозяйка устроила ему почти что роскошную постель, а сама улеглась вместе с мужем под брезентовым плащом. Молодожены о чем-то пошептались, потом затихли, и по ровному их дыханию Тураш догадался, что они спят. А к нему сон не шел да и не такое наступило в его жизни время, чтобы можно было спокойно спать. Он долго лежал с открытыми глазами, думал, думал, пока не сказалось утомление, и тогда он уснул.

Спал он очень чутко, настороженно, поэтому легкий шум его разбудил тотчас же. Тураш приподнял голову и увидел что взошла поздняя луна. Белый квадрат ее света упал на то место, где спали молодожены. И он увидел что они вовсе не спят. Молодая хозяйка сидит, точно за матовым стеклом, жалобно стонет и держит свой палец во рту. А вокруг нее и так и сяк суетится муж.

— Ну, дай-ка, дай-ка мне,— сказал джигит и взял ее палец.— Ничего страшного, сейчас заживет. Смотри-ка!

Он поднес ее палец к губам и поцеловал Жена притихла на мгновенье, затем раскапризничалась пуще.

— Да-а, тебе-то что, не больно,— захныкала она, высвобождая руку.— Придавил мой палец о камень и говоришь "ничего". Не можешь спать спокойно? Ворочаешься, точно медведь...

— Дай-ка хоть перевяжу,— прогудел джигит виновато.

Он с треском разорвал какую-то тряпку и перевязал палец жены. Та улеглась, продолжая хныкать. Тогда джигит склонился над ней, начал осторожно целовать, бормоча:

— Ну, не плачь... Сейчас пройдет, и все будет хорошо... Ну, перестань. Не то разбудишь гостя, он проснется...

— Ну и пусть проснется... Если мне больно... Ой, пальчик мой!.. Ах, какая я несчастная!..

И тут парень вскочил будто в него вонзили нож, закричал:

— Что ты говоришь? А ну повтори!

Его лицо белело неясным пятном, но Турашу казалось, будто он видит, как отчаяние исказило его черты.

А испуганная жена притихла: видимо, такой оборот дела застал ее врасплох. Некоторое время они молчали, в доме стояла напряженная тишина. Потом парень произнес трагично, так, будто уже не было никакого выхода:

— Может, ты уже жалеешь, что пошла за меня замуж? И, может, палец только предлог для скандала, да? Я тебя предупреждал честно: у меня ничего нет. А ты что сказала: ах, мне ничего не нужно, был бы рядом ты! Но прошло три дня — и всего-то! — как ты уже в слезы... А днем ты плакала, будто ушибла колено! Нет, так не пойдет!

— Я больше не буду. Ложись, спи. Сам же говорил: "Тише, гость проснется", — миролюбиво произнесла жена.

Но муж ее обиженно молчал, тогда она приподнялась и начала гладить его, точно ребенка, целовала, шепча что-то ласковое, успокаивающее. А тот покорно лежал на спине, и только могучая грудь его ходила ходуном, вздымалась, будто ее раздували мехами. А молодая женщина шептала, шептала:

— Не сердись, батыр мой,— и осторожно провела ладошкой по его лицу.— Батыр мой....

— А ты никогда больше не говори так, ну, что ты, мол, несчастная,— попросил наконец парень дрогнувшим голосом.

— Не буду... Прости меня. *Я* на самом деле счастливая... Очень счастливая. Обними меня.

— Ну, спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Сегодня нам рано вставать.

Тураш завороженно прислушивался к чужому счастью. Они узнули быстро. Молодой человек спал по-богатырски, раскинул свои ручищи на полу, залитом лунным светом. Его грудь теперь вздымалась мерно, спокойно, — этакая живая гора. Жена пристроилась у него под боком, будто искала защиты под могучим крылом, нашла ее и теперь спала безмятежно. Один раз она что-то прошептала, не просыпаясь,

коротко, но от души хохотнула и прижалась к мужу теснее.

Ну да, они счастливы и беспечны, как можно быть беспечными от счастья только в их годы. Может, оттого они так и приветливы с ним.

"Эх, молодость, молодость, славная беззаботная пора", — сказал он себе и вздохнул, потому то тут же вспомнил свою молодость.

Да, казалось бы, еще недавно он сам был юн и счастлив. И, если на то пошло, так же красив, как и этот джигит. А в силенке никто бы не посмел отказать, словом, был Джигит что надо. Женился он тогда на самой прекрасной девушке аула. По ней с'охли многие джигиты в округе, и он их оставил с носом. Что тут началось! — и забавно, и жутко вспоминать. В открытую они не посмели, его незадачливые соперники. А ночью, когда он, счастливый Тураш, привел молодую жену в свой дом, аульные парни напоили полоумного Хусана и вложили ему в руки заряженное ружье.

Глубокой ночью гости разошлись по домам, наевшись и напившись до отвала. Но стоило молодым уйти за ширму и улечься на брачное ложе, как удариł оглушительный выстрел и окно разлетелось вдребезги. Пуля просвистела над его головой, но удивительно: он нисколько не испугался только что миновавшей смерти, встал в полный рост и рассмеялся надменно, бросая

вызов очередной пуле. И окончательно обезумевший от страха Хусан бросил ружье и убежал на колхозную конюшню. А он, смелый и гордый, обнял перепуганную подругу и ласкал ее, успокаивая.

В первое время семейной жизни у них тоже были маленькие ссоры из-за пустяков, пугавшие их и порой доводившие до слез. Но зато каким бурным бывало примирение. О, как они любили друг друга! Пожалуй, это были лучшие годы в его жизни, когда можно было заплакать от радости... Вспоминая об этом позднее, они смеялись над собой: "Ах, какие были мы глупые!" И, вздумай он расплакаться потом, жена бы его высмеяла. Потому что они стали иными. А значит, и представление о счастье стало другим.

С тех пор утекло много воды в речке Каскалдак. Прошло лет десять, и всего-то, а кажется, минула вечность. До того все стало далеким, неправдашним, будто рассказы из чужой жизни. И дома его ждет будто бы другая женщина, глупая и сварливая, только былой красотой напоминающая ту, прежнюю.

И вот эта история с бархатом и три месяца тюрьмы. "Ну что три месяца по сравнению с вечностью,— так бы сказала, наверное, жена, стараясь его утешить.— Мы снова вместе, будто ничего и не было",— прибавила бы,

наверное, она. Но три месяца ушли из его жизни. Вернее, их вовсе не было. Не было стольких счастливых дней и ночей.

Тураш лежал с открытыми глазами, положив под голову руки. В кыстау было сумеречно и тихо. Сладко посыпывали молодожены. По стенам, выложенным из неровного камня, бродили фантастические тени, а в полуразрушенное окно виднелись скалы, еще прикрытые ночной тенью. Расстояние словно не существовало в этот час, бесформенная масса камня почти подступала к домику, грозясь его раздавить. Эту нереальную картину дополняло эхо, переносившее гул разбушевавшейся горной речки Каскалдак.

За стеной продолжалась таинственная, не видимая глазу жизнь. Вдруг будто кто-то прошел глухо топая, и с грохотом обвалился камень. И сейчас же будто из недр земли закричали: — У-у-уф! Ууу-уф!

Обрадованное случаем эхо тотчас подхватило зловещие звуки, удвоило их, утроило, разнесло по горам. У Тураша по телу разбежались мурashки от страха, смешанного с любопытством. Ему померещилось, что вот- вот кто-то войдет. Когда невидимый ухнул вторично и затем тяжело прохлопал крыльями мимо кыстау, Тураш не без разочарования сообразил, что это в последний раз перед рассветом пролетел филин.

Когда в тусклом кусочке неба появились голубые оттенки, Тураш поднялся. Молодожены спали крепко, оставив на время неугомонный мир и не жалея об этом. Стараясь ступать бесшумно, Тураш вышел наружу.

В ноздри его, еще хранившие запах дыма, ворвался острый утренний воздух. Мир развернул перед ним все свое великолепие. Вокруг все было чисто и окроплено росой: и камни, и травы, и новенькие лакированные почки таволги и караганника — точно к его появлению готовились долго и тщательно. Это значило, что мир не считал его отверженным. Он щедро дарил себя Турашу. Еще не веря своей догадке, Тураш помедлил и ступил на тропу, темную от росы. Он почувствовал себя человеком, который вернулся домой после долгих странствий: ему все еще кажется невероятным, что он ступил на родную землю, и он всматривается, всматривается и, к своему облегчению, узнает дорогие лица и милые сердцу предметы.

Тем временем из-за гор вырвался яркий сноп солнечного света. Он запылал на вершинах, потом заскользил вниз и залил ущелье и Тураша, шедшего по ущелью. Наверное, это было случайным совпадением. Но именно тут же Тураш понял, что, в общем, все зависит от него. У него есть жизнь, славная верная жена, и

сердце, и руки, способные вернуть ему утраченное уважение людей. Только он должен пойти к ним честно, при солнечном свете, не прячась в темноту.

Тураш прибавил шагу и ушел уже так далеко и зимовки, что лишь каким-то чутьем угадал, ЧТО его зовут.

На краю плато стояли двое — мужчина и женщина — и махали ему. Их заливало солнце, отсюда они казались отлитыми из бронзы. Солнечные лучи подхватили их радость и разлили по свету. А эхо донесло до него их голоса:

Аа-а!

Тураш почему-то обрадовался едва не до  $\geq$  нп, будто его провожали близкие люди. Ему почудилось, что они кричат:  
Доброго вам счастья!

И эхо разнесло их голоса по ущелью.

По морщинистым лицам скал стекала, точно слезы тихой радости, теплая утренняя роса.

И вам доброго счастья! — пробормотал Тураш, потому что в горле его застрял комок.

Но эхо все-таки подхватило его слова, покатило по ущелью. Или, может, ему это показалось.

Им овладела огромная, неистовая радость, когда хочется кричать на весь мир. Он обернулся еще раз.

Л эхо все еще переговаривалось ликующими голосами...

## СОДЕРЖАНИЕ

Горький запах полыни. Повесть ( <i>пер. Г. Садовникова</i> ) .....	3
Моя сестренка. Рассказ ( <i>«пер. Н. Силиной»</i> ) .....	59
Камен-Тугай. Рассказ ( <i>пер. Б. Рябикина</i> ) .....	69
На перевале. Рассказ ( <i>пер. Г. Садовникова</i> ) .....	78

**Серия "Библиотека казахской прозы"  
Сайн Муратбеков ЗАПАХ ПОЛЫНИ**

**Повести и рассказы  
(на русском языке)**

Редактор *Б. Ильясова* Художник *Л. Тетенко* Худ. редактор *Ш. Байкенова* Тех.  
редактор *С. Бейсенова*

ISBN 9965-18-080-6 9 789965 180804

ИБ № 90

Сдано в набор 15.05.2003 г. Подписано в печать 6.06 2003 г.  
Формат 70x90'/<sub>32</sub>. Печать офсетная. Шрифт "Тайме". Усл. печ. л. 3,51. Уч.-изд. л.  
3,01. Тираж 2000 экз. Заказ № 1445.

Издательство "Аударма", 473000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 25. Закрытое  
акционерное общество «Астана полиграфия», 473000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 25.